

Женские судьбы.  
Уютная проза  
Марии Метлицкой



Мария  
Метлицкая



Поэты счастливые  
тетяшкины



Москва  
2022

УДК 821.161.1-31  
ББК 84(2Рос=Рус)6-44  
М54

Художественное оформление серии  
и иллюстрация на обложке *П. Петрова*

**Метлицкая, Мария.**  
М54 Почти счастливые женщины / Мария  
Метлицкая. — Москва : Эксмо, 2022. —  
576 с.

ISBN 978-5-04-160301-4

Как часто в юности мы слышали: «Учись на своих ошибках». Как часто в зрелости мы сами говорили это своим детям. Впрочем, без особой надежды. Все знают: учиться на чужих ошибках невозможно. Опыт приходит лишь тогда, когда совершишь собственные.

Аля Добрынина рано осталась сиротой. Бабушка Софья Павловна, которая заменила ей и мать, и отца, и прочих родственников, сокрушалась, что внучка повторяет ее ошибки. Но Аля, с ее горячностью, «правильностью», благородством, жила так, как велело ей сердце. Именно поэтому ей не однажды пришлось пережить предательство, разочарование, крах надежд.

Но жизни без ошибок не бывает. И Аля, став совсем взрослой, понимает: главное — в ее жизни была любовь, настоящая, всепоглощающая. А значит, она почти счастливая женщина. Потому что быть совсем счастливой, наверное, невозможно.

УДК 821.161.1-31  
ББК 84(2Рос=Рус)6-44

© Метлицкая М., 2022

© Оформление.

ISBN 978-5-04-160301-4 ООО «Издательство «Эксмо», 2022



**В**Алином взгляде читалось многое — смятение, оторопь и даже ужас. А еще — паника, смешанная с жалостью и недоумением. Она смотрела на дочь и старалась не закричать, не оскорбить, не выгнать, в конце концов.

А сделать все это хотелось. Но нельзя — воспитание и традиции не позволяли. Она никогда — никогда! — на дочь не повышала голоса. А уж про оскорбления говорить нечего — у них это не принято.

Она же педагог, причем с огромным стажем. Как же опуститься до того, чтобы оскорбить родную дочь? Нет, никогда.

Аня всхлипывала и шумно сморкалась. Мать морщилась, кривилась, а та продолжала тянуть что-то жалостливое, как ей казалось, пытаясь растрогать мать. Но, кажется, понимала, что сделать это почти невозможно. Мать никогда не поймет. Не тот она человек. Конечно, мама нежная, теплая, любящая. Но в чем-то непримиримая, бескомпромиссная, даже нетерпимая.

Аля посмотрела на часы — ничего себе, а? Полтора часа бреда, истерики, соплей и просьб по-

нять, войти в положение. Полтора часа всей этой мерзости, пакости и – самое страшное – отчаянной глупости!

Нахмурившись, она пристукнула ладонью по столу:

– Все, Аня, все! Достаточно. Хватит. В конце концов, это невыносимо. Посмотри на себя в зеркало, во что ты превратилась! И все это ты называешь счастьем? Ну просто, ей-богу, смешно! Ты, Аня, взрослая женщина, мать и жена. И эти сопли, эти надуманные, абсолютно киношные страсти – все это пошлость, прости! Бразильская чушь какая-то, дешевое «мыло». – Она встала, резким движением одернула кофту и подошла к окну.

Притихшая и ошарашенная, дочь смотрела на такую знакомую фигуру – все еще стройную, подтянутую, с ровной спиной и гордой, высокомерно поднятой головой.

– Мама, – жалобно пролепетала она, – как же ты можешь? Ведь это моя жизнь. Господи, ну как же ты можешь? Ты же моя мать. И вообще... женщина. Кто поймет меня, если не ты? Кто пожалует? – Закрыв заплаканное, опухшее лицо руками, Анна снова расплакалась. – А на гостиницы у него просто нет денег. Такое бывает, мам, ты просто забыла. Да и такое унижение – гостиница...

Аля отвернулась от окна.

– Мать, говоришь? Конечно, мать! Аня, я знаю про тебя все. И про твоего мужа, и про детей, моих, между прочим, внуков. И ты мне предлагаешь встать на твою сторону? Принять твою правду? Поддержать тебя в этом безумии? Войти с тобой, так сказать, в коалицию? В тайный сговор? Ты

предлагаешь мне это? Ты, Аня, дура. Прости за резкость, но тебя занесло. Да, и еще: обо мне ты подумала? Ну как мне жить со всем этим? Знать и жить дальше? Как спать по ночам? Смотреть в глаза твоему мужу? Сидеть за общим семейным столом? Делать вид, что все хорошо, все по-прежнему? Ты предлагаешь мне стать сообщницей в преступлении? Уж прости за громкую фразу, но это так! Ты, как всегда, думаешь только о себе, Аня. Ты же у нас пуп земли и центр вселенной, не так ли?

Не поднимая головы, дочь крутила в руке легкую кофейную чашку с расплывшимися остатками кофе, словно пыталась разглядеть на тонких стенках послание свыше. Потом аккуратно поставила чашку на блюдце, откинула пышные кудрявые волосы, узкой изящной ладонью оттерла слезы и, медленно покачав головой, печально усмехнулась.

— Нет, мамуль. Уж чего я не ждала точно — так это поддержки. Точнее, нет, я ждала! Ты права. И да, я полная дура, раз ждала. Как я могла? Сама удивляюсь. Меня занесло, это верно. И тысячу раз прости, что предложила стать моей сообщницей. Посмела лишить тебя сна и покоя, нарушить твою размеренную жизнь. Ох, мама! Прости. Прости, если можешь! У меня и вправду поехала крыша. Знаешь, такое бывает. Случается с тетками. Особенно после тридцати. Крышу срывает. Не слышала, нет? С тобой не делились подруги? Господи, да о чем я? Какие подруги? — И дочь саркастически рассмеялась.

— Какая ты злая, Аня! А говорят, что счастливые злыми не бывают! Вот и задумайся о своей неземной любви. И вообще — что тут обсуждать? Я тебя прошу об одном — просто разберись, что самое

главное. И если разберешься, значит, я правильно тебя воспитала.

Дочь расхохоталась.

— Мам, ты серьезно? Именно это тебя сегодня волнует? Правильно ли ты меня воспитала? Что упущено, да? Ну ладно, мам. Я поехала. Прости, что отняла у тебя столько времени.

Аля встрепенулась.

— Куда ты в такую погоду и в такое время, Аня? Пока доедешь, я сойду с ума! Уедешь рано утром, хоть выспишься на свежем воздухе! Иди к себе, выпей чего-нибудь успокаивающего, валерьянки, например. Прошу тебя, не уезжай.

Дочь на минуту остановилась.

— Нет, мам. Спасибо. Все же я поеду домой. Время позднее, минут за сорок доберусь. — Она стала натягивать кроссовки.

Растерянная, мать стояла на расстоянии вытянутой руки.

— Останься, Аня, — жалобно повторила она. — Ну куда в такую темень, ей-богу? Да и дождь моросит! Не упрямясь, останься!

Дочь улыбнулась:

— Да ладно, о чем ты? Какой там дождь? Так, ерунда. Нет, я поеду. Прости. Хочу домой. Там сейчас никого нет, и это удача.

Мать дернулась и сжала губы.

— Ну как всегда, разумеется! Все как тебе удобно! Какой эгоизм, Аня! Всегда и во всем!

— Все, мам. Пока. Созвонимся. — У двери обернулась и усмехнулась: — Вот оно, мам! Издержки твоего воспитания. Упущения, так сказать — эгоистичная, равнодушная и непослушная дочь.

Аля ничего не ответила.

Через пару минут раздался звук двигателя. Она подошла к окну. Темный участок осветили автомобильные фары, открылись ворота. Машина выехала на улицу и, чуть переваливаясь, медленно поползла по поселку.

«Ну конечно, — раздраженно подумала Аля. — Закрывать ворота не удосужилась. Сто раз говори — и все без толку! Что за эгоизм? Впрочем, чему удивляться? Тряслась над ней, вот тебе и издержки!»

Накинув старую куртку и сунув ноги в кроксы, она вышла во двор. Трава после дождя сочно чавкала под ногами. Было тепло и сыро, пахло свежестью и мокрой землей. На минуту остановившись, Аля глубоко вдохнула свежие вечерние запахи — красота! Все, как она мечтала, — дача, лето, свобода. Все вечера были ее: балкон с видом на лес, на участок, уютная комната, удобная кровать. Старая бабушкина настольная лампа — синее стекло, бронзовая нога. Книга на тумбочке, стакан остывшего чая. И в блюде крыжовник — любимое лакомство.

Правда, днем вождеденного уединения ей было не видать — внуки и няня, чужой человек. Но внуки радость и счастье, а няня тиха, как украинская ночь. На неделе ни дочь, ни зять не приезжали, оставались в Москве. Во-первых, неохота тащиться по пробкам. А во-вторых, им хотелось отдохнуть от детей. За них родители были спокойны — с ними и няня, и бабушка. Холодильник забит, в местном магазине есть все, можно спокойно работать. И она была спокойна за дочь и зятя. Пусть спокойно работают и отдыхают. Ходят в кино, в гости, в рестораны. Они заслужили.

Зато уж на выходные собирались компании. Приезжали друзья дочери и зятя, разумеется, с детьми — у всех было по двое или по трое. И как они все успевали, современные женщины? Все ведь работали — у кого бизнес, у кого служба. А, да! Няни! Сейчас все изменилось, не то что в ее молодости, когда весь расчет был на бабушек и дедушек.

Да, выходные всегда были шумными и многолюдными: шашлыки, плов, шурпа или лагман. Эти успешные молодые мужчины умели готовить! Точнее, так — сейчас было модно готовить! И зять Лёня умел и любил.

И на тебе — все изменилось. У ее спокойной, разумной, послушной дочери, у ее тихушницы Аньки, примерной матери и верной жены, случился роман. В голове не укладывается. Этого Аля точно не ожидала — у дочери в семье все было прекрасно: достаток, успех. Никаких скандалов и передраг. Лёня, зять, обожает Аньку. А какой он замечательный муж и отец!

Как было все хорошо! Казалось, так будет всегда, и ее дочь точно будет счастливой — первой счастливой женщиной в их семье. А сейчас на сердце тревога и беспокойство, душа ноет, болит. Да и с покоем, кажется, пришла пора распрощаться. Надолго или навсегда? Все обваливается, трещит по швам. Вот-вот — и руины.

Она выглянула на улицу, но там было темно. Включила уличное освещение. Дождь закончился, только с деревьев падали капли.

Спать, спать. Сегодня она очень устала.

Однако уснуть не получалось. Включила телевизор. Но на экране рябило, картинка, словно игру-

шечный калейдоскоп, распадалась на множество мелких деталей, и Аля с раздражением его выключила. Нет, все понятно, загород, дождь — но как же это осточертело! Читать не хотелось. Разве что послушать музыку? Приемник отлично ловил любимую радиостанцию «Орфей». Несколько минут Аля крутила колесико настройки, но приемник шипел и шуршал. Чертыхнувшись, она выключила и его. Помехи. Всю жизнь одни помехи.

Пытаясь все же уснуть, легла на спину, вытянула ноги и натянула одеяло до подбородка. Услышала, как снова забарабанил дождь. Ну вот! Посмотрела на часы — рано. Наверняка Анька еще не доехала. Позвонить? Да нет, не стоит. Во-первых, отвлекать водителя за рулем — полная глупость. А во-вторых, услышать опять ее раздражение? Нет уж, увольте. С нее хватит того, что она сегодня услышала.

И от кого? От самого близкого человека, от родной и единственной дочери. От жалости к себе Аля всхлипнула.

И тут снова вернулись раздражение и даже злость на дочь: «Нет, ну вы подумайте! Роман она завела!» Аля снова вздохнула — не усну. Определенно сегодня не усну.

Да уж, мать и дочь, вечный «Король Лир». С сыновьями проще, она в этом уверена. Сын больше жалеет мать. Нет вечного соперничества, сравнения: а я, а у меня, а у тебя. И все это полная чушь, что дочь лучше поймет, потому что женщина. Глупости. И как ей надоели эти высосанные из пальца драмы!

Все. Не думать, не думать. Не думать — и все. Иначе просто не выжить. Анька молодая, все переживет. А ей, Але, за пятьдесят.

И хватит с нее страданий, ей-богу, достаточно. Свою бочку дерьма она уже съела, выхлебала полной ложкой до самого дна.

Она закрыла глаза и почувствовала, что ее знобит. Не дай бог, простуда. Да нет, просто нервы. Еще бы не нервы — такой стресс. Она снова посмотрела на часы и набрала телефон дочери.

— Аня! Ты дома? — быстро выпалила она.

— Подъезжаю, — коротко, с обидой бросила дочь.

«Ну и бог с тобой, — подумала Аля. — Добралась — и слава богу. А все твои закидоны — тоже мне, новость».

Она погасила настольную лампу и отвернулась к стене. Дождь, развеселившись, весело и бодро тарабанил по подоконнику. Вдалеке забрехала собака. Моментально включились другие. Собачий брех продолжался минут десять, а затем постепенно смолк.

Она открыла глаза и уставилась в потолок. Ничего интересного.

Ах, Анька! Какая же ты дурочка, девочка! И как мне тебя, Анька, жаль!

\* \* \*

В детстве Аля была наивна не по годам, и это сразу бросалось в глаза. Светло-серые, детской кукольной формы глаза распахнуты и открыты всему миру. В них не было испуга или страха перед огромной и незнакомой жизнью, в них читались восторг, любопытство, любознательность и — доверие. Так ее учила мама: «Хороших людей боль-

шинство, доченька! Их точно больше, чем нехороших!» Мама, наивная, чудесная мама! Светлый, несчастный человек, почему именно тебе такая судьба? Аля Добрынина не была хорошенькой в понимании этого слова — скорее, обыкновенной, но милой, приятной.

Жили они в Подмосковье, точнее в Клину, в городке, где творил великий Чайковский, и Аля очень гордилась своим земляком.

Алина мать, Анна Васильевна Добрынина, скромная, тихая учительница музыки в местной школе, мечтала сделать из девочки пианистку. Но увы, уже в четыре года она, опытный педагог, поняла, что занятие это бессмысленное и бесполезное — у девочки не было слуха. До такой степени, что напеть простейшую «В лесу родилась елочка» у нее не получалось. Конечно же, слух можно развить, как и циркового медведя научить кататься на коньках. Но стоит ли? Если бог не дает никаких подсказок, выходит, не стоит? Значит, у девочки другой путь. Да и пианино, стоящее в холодном помещении красного уголка, наводило на тихую девочку совсем не священный ужас. Аля просто пугалась черного полированного зубастого монстра.

Ах как жаль! Ведь музыка — это счастье, нескончаемая радость, восторг, упоение и отрада души!

Да, жаль... Но что поделать? Заставлять девочку барабанить по клавишам? Зубрить этюды и гаммы? Мучить ее? Никогда. И музыкальную тему Анна Васильевна просто закрыла.

Когда-то с пятимесячной дочерью на руках тихая и покорная Анечка сбежала от мужа-тирана. Сбежала в никуда, не раздумывая ни минуты, когда

пьяный оборотень занес над ней огромный, с кирпич, кулак. С собой она прихватила авоську с тремя запасными пеленками, тремя же ползунками, парой теплых пинеток и шапочек. Девочка была укутана в одеяло — апрель.

Почему-то бросилась на вокзал. Уже на вокзале, присев на скамейку, заплакала — идти ей было некуда и не к кому. Ни родни, ни близких друзей у нее больше не было, мама умерла, а отец, не выдержав и года, сразу женился. Мачеха оказалась классическим персонажем из сказок — злой, жадной, ревливой. Тихая и смиренная Анечка ее раздражала. Жили они в небольшом подмосковном поселке в общежитии семейного типа — полторы комнаты и общая кухня. За что эта женщина ненавидела Анечку? Молчаливая девочка, умелая помощница. И суп сварит, и приберет. Покойница-мама всему научила. Знала, чувствовала, что долго не проживет, — сердцем страдала всю жизнь. Ей и рожать запрещали. Но родила — какая семья без дитя? А вот работать не работала — инвалидность. Работал один отец. В поселке под названием Труженик был небольшой заводик по производству гжельской керамики, где он и трудился оправщиком. У всех поселковых бело-синей керамики было полно — списанный брак: вазы, тарелки, чашки и плошечки. Фигурки животных, девиц и кавалеров не брали — зачем? Какая от них польза? Глупости для городских. С фигурками играла детвора — девица с длинной косой, удалой гармонист, спящие кошечки, свернувшиеся в клубок собачки. Это и были их куклы и основные игрушки.

Вся поселковая жизнь крутилась вокруг заводика. У всех были свои огороды и даже живность, скотина — а как выживать на селе? Но мама, простая женщина, светлая ей память, отдала девочку учиться музыке — в поселке жила замечательная старушка Евгения Николаевна. К ней Аня и бегала на занятия три раза в неделю. Да больше бы бегала — только Евгеше было тяжело, возраст.

А потом мама ушла... Ту жизнь, после мамы, вспоминать не хотелось. Мачеха жалела ей кусок хлеба и стакан молока. Слава богу, Анне тогда было почти пятнадцать. Решилась и, бросив недобрый родительский дом, уехала поступать в музыкальное училище в Москву.

Странное дело — поступила, сама не ожидала. Получила койку в общежитии и зажила студенческой жизнью. Стипендии, правда, почти ни на что не хватало. А как хотелось попасть в Зал Чайковского и в консерваторию! Но студентам давали контрамарки. А вот на билеты в театр денег не хватало. Ее манило в театры, концертные залы, на выставки! Это же столица, Москва! Здесь столько всего! А недоступно.

Жили девчонки в общежитии дружно, в складчину. Выживали, потому что всем делились. Хорошее было время. Пока она не повстречала Сашу Добрынина, красавца и баловня судьбы, москвича, сына богатых и известных родителей. Влюбилась в него смертельно, до сердечной боли. Да и он, кажется, тоже — провинциалка, музыкант, сероглазая, русоволосая Анечка, тихая, нежная, пылко влюбленная, готовая на все. За ним — на край света!

Он все смеялся: «Ты с какой планеты, Анька? Таких больше нет!» Называл ее декабристкой.

Столичные девицы, яркие, языкатые и нахальные, как на подбор, ему давно надоели.

Как хорошо все начиналось. Ах как хорошо! Правда, через четыре месяца она забеременела, неопытная дура, деревня! Как он кричал! Но потом успокоился — на удивление быстро — и предложил пожениться. Аня удивилась. Потом, спустя время, поняла — сделал он это назло матери, с которой у него было сложно, и отцу. Правда, тому, кажется, было все равно, он жил своей жизнью. А вот свекровь ее сразу не приняла. Смотрела презрительно, как на беспородную, шелудивую, приبلудную собаку. И презрения своего не скрывала. Сразу предупредила:

— Думаешь, принца на белом коне отхватила? Богатого москвича? Дура. Дерьмо он, мой сын. Дерьмо, пьяница и гуляка. Впрочем, скоро сама узнаешь. Ладно, дело твое. Но тебя и твоего ребенка, — она кивнула на выпирающий Анин живот, — я ни за что не пропишу, поняла?

Аня покорно кивнула. Зачем она так, эта строгая женщина, суровая и красивая, увешанная кольцами и браслетами? Что Аня сделала ей плохого? И кстати, она ни на что не рассчитывает! Просто она любит мужа. Очень любит, и все.

Но свекровь оказалась права: Саша пил. Пил и гулял. Поднимал на нее руку. Свекровь в их отношения не встревала — кажется, просто ждала, когда Аня исчезнет. Правда, сыну бросала: «Сволочь!» Но на этом защита заканчивалась. Свекор вступался, если был дома. Но случалось это редко, жену с сыном он, кажется, избегал.

Когда родилась Алечка, ничего не изменилось. Свекровь к ним в комнату не заглядывала и девочкой не интересовалась. Саша по-прежнему пил и гулял, пропадал на несколько дней, а вернувшись, мог и ударить.

В общем, выдержала Аня почти год, а потом убежала. Не было сил и мочи терпеть.

Когда случился тот, последний скандал, свекровь была дома. Услышав крики, усилила звук телевизора — так она поступала всегда.

Аня не знала, слышала ли свекровь стук входной двери, когда она убегала, ее слезы, крик пьяного мужа, плач девочки. Ей было все равно — надо было спастись. Выскочив из подъезда, на пару минут остановилась. Может, свекровь догонит, остановит? Или Саша? Но нет. Никто ее не догнал. Идти ей было не к кому и некуда. Совсем.

И вот она на вокзале. Зареванная, промерзшая, несчастная и одинокая. Одна на всем белом свете. Нет, не одна — у нее Алька, ее девочка, ее дочка! Только куда бежать? В поселок к отцу и мачехе? Нет, ни за что!

Сидела и плакала. Проходившие мимо люди опасливо косились на молодую женщину с грудным ребенком. Милиционер, стоявший поодаль, посматривал на нее с плохо скрываемой тоской: вот только подойди — и начнется!

Решил подождать. Но Аня почему-то его испугалась, подумала вдруг: «А если отнимут ребенка, заберут в приют, а меня в тюрьму? Да, эти могут. Нет, надо бежать!» И, подхватив дочку, выскочила на перрон. Тут и вспомнила про дальнюю родственницу, живущую в Клину, — мамину тетку или

троюродную сестру тетю Липу. Точно, Олимпиада Петровна Гузик, мама писала ей письма. Такую смешную фамилию запомнить было легко, а имя и того проще — Олимпиада. Олимпиада Гузик вряд ли имела полных тезок, и найти ее в маленьком городке будет совсем не сложно.

Аня, обрадовавшись, подхватилась и бросилась к кассе. В поезде они с дочерью уснули.

Олимпиада Гузик и вправду нашлась очень быстро. Тетка оказалась важной птицей — начальницей почты. Туда, на почту, Аня с ребенком, тихо хныкавшим в мокрых пеленках, тут же и отправилась.

Тетка оказалась настоящей бой-бабой: высокая, полная, не женщина — танк, настоящая великанша из сказки. Встретишь такую на улице — отойдешь в сторону или прижмешься к стене. Не выпуская изо рта изжеванную «беломорину», она разговаривала угрожающим басом.

Увидев тощую, бледную, измученную молодую женщину, сурово свела брови, молча выслушала ее, чиркнула спичками, подожгла потухшую папиросу и хлопнула огромной ладонью по столу:

— И чего раньше не сбежала? Чего терпела, дура? Ребенок! И еще — любила? Ну а теперь что? Налюбилась, достаточно? Ну тогда двигай по адресу. — И Олимпиада размашистым почерком черкнула адрес на обратной стороне конверта. — Вот, ступай! Ключ под ковриком на крыльце. Располагайся. Суп там же, на крыльце, хлеб в кухне. Постель в гардеробе найдешь. Не найдешь — ляжешь так. Я приду через, — она глянула на большие часы, висящие на стене, — через два часа. В общем, раз-

берешься! А сумку свою оставь — я притащу! Куда тебе еще сумку?

Растерянная и счастливая, Аня, отирая слезы, мелко кивала. Голодная девочка разразилась рыданиями.

Аня вышла на улицу, вдохнула прохладный свежий воздух, уловила запах костра, приближающейся весны и тепла и, счастливо улыбнувшись, побрела по улице — тетка сказала, что до дома недалеко, минут семь. Нещадно болели руки — дочка, хоть и мелкая, худенькая, почти невесомая, казалась теперь тяжеленной.

Домик нашелся быстро — и оказался маленьким, будто игрушечным, словно насмешка над великаншей Олимпиадой: две малюсенькие комнаты с картонными стенками и кухонька метров пять. Половину пространства кухни занимала круглая печь.

Аня осторожно положила уснувшую дочку на кровать и на цыпочках, чтобы не скрипеть половицами, прошла по дому. Убранство никак не вязалось с хозяйкой. Казалось, в таком домишке должна жить маленькая, кукольных размеров женщина, а не громкоголосая великанша, бой-баба.

Занавески в рюшечках, кружевные накидушки на кровати и креслах, вышитый подзор, фиалки и герань в горшках, украшенных витиевато вырезанными из белой бумаги передничками, вязанные крючком салфеточки и скатерки, статуэтки животных с игриво поднятыми лапками, картиночки на стенах, бесконечные вазочки и открыточки, парочка плюшевых мишек, сидящих в обнимку на кресле.

Аня счастливо улыбнулась и наконец выдохнула.

В доме было тепло, огромная печка не успела остыть, и нежданная гостя робко прижалась к ней озябшей спиной.

Потом она вспомнила, что голодна, поставила чайник, принесла с крыльца огромную кастрюлю щей, открыла крышку и жадно вдохнула аромат густого, наваристого супа.

В кастрюльке поменьше нашелся и хлеб, мягкий и свежий, и Аня отрезала себе большущий ломоть. Устроившись у окна, она жадно, громко прихлебывая, начала есть обжигающий суп.

Только теперь, отогревшись и наконец наевшись, она поняла, как круто и бесповоротно она, нерешительная, робкая и пугливая, изменила свою жизнь. Свою и своего ребенка.

Как она смогла уйти из того дома? Из той семьи, от законного мужа? Как у нее хватило смелости? А что теперь? Уживутся ли они с суровой теткой, ведь совершенно чужие, незнакомые друг другу люди. Что она знает про Олимпиаду? И для чего Олимпиаде, одинокой и бессемейной, Аня и ее дочь?

А если ее найдет муж? С него станется, подаст в милицию, объявят в розыск. Нет, это вряд ли — они с Алей ему не нужны. А свекровь наверняка счастлива, что избавилась от обеих.

А работа? Нужно искать работу, кормить себя и дочь. «Господи, что я наделала...» И Аня заплакала.

В комнате запищала дочка. Аня немедленно вытерла слезы и побежала к ребенку. Помыв малышку под ручкой, поменяла пеленки, покормила ее и прилегла на кровать.

Скоро придет хозяйка. Какой она человек, эта Олимпиада, тетка Липа? Вдруг одумалась и выставит их вон? Тогда точно придется ехать обратно и возвращаться в дом мужа.

Аня всхлипнула: «Никогда. Доченьку в детский дом, а сама утоплюсь. Вот самое простое и верное решение. А Алю вырастит государство. Не бросит же в беде».

Сытая дочка болтала ножками и гулила. А молодая мать скоро уснула — сказались тяжелые дни.

Разбудил ее приход хозяйки. Хлопнула дверь, потянуло холодком, и раздались тяжелые, грузные шаги — ну просто появление статуи Командора. И тут Аня услышала громогласный, басовитый голос:

— Ах ты, моя маленькая! Ах ты, сладенькая! Куколка какая! Красавица! Внуечка моя драгоценная!

Очумевшая от этих слов и еще не пришедшая в себя от сна, Аня сидела на кровати и хлопала глазами. А великанша, повторяя ласковые слова, качала на огромных руках обалдевшую девочку.

И тут растерянная и ошеломленная Аня поняла: сегодня она обрела дом и родную душу. И никто их с дочерью отсюда не выгонит, а совсем наоборот — их будут любить, холить, лелеять, оберегать и охранять. И никто их теперь не обидит. Попробуй обидеть Олимпиаду Петровну Гузик — мало не покажется.

Так все и вышло. Тетка обожала их обеих, и малышку и племянницу, тетешкалась с девочкой, как не тетешкаются родные бабки, летела с работы, чтобы поскорее взять девочку на руки, по утрам

варила кашу и протираала творожок, покупала вещички и важно выгуливала ее в коляске, низкой, приземистой, кремово-сливочного цвета, добытой по страшному блату в местном универмаге.

Тетка оказалась человеком редкой, кристальной, светлой души, невероятной душевной теплоты, доброты и сердечности, страшно одинокой и в общем несчастной. Были в ее жизни и трагическая любовь, и предательство, и полное одиночество. Кому повезло больше? А повезло всем — и Анюте, как звала ее тетка, и ей, Липе. И уж точно Алечке, которая звала Липу бабушкой и которую она обожала. Прижавшись носом к оконному стеклу, ждала ее с работы, бросалась к ней в объятия, а по утрам прибегала к ней в кровать и, уткнувшись в мягкий горячий бок, моментально засыпала.

Спустя год совежливая Аня устроилась в детский садик музыкальным работником. Туда же устроила и Алечку — и сыты, и дочка под присмотром.

Хозяйство вели сообща. Да какое там хозяйство — две женщины и ребенок. Жили дружно, не ссорились и не цеплялись друг к другу. Через полтора года Аня успокоилась и поняла, что бывший муж и не думает их искать, наверняка давно забыл и устроил свою жизнь. Ну и бог ему судья.

Их тихая женская жизнь протекала спокойно и мирно.

Аля росла спокойным, уступчивым, беспроblemным и милым ребенком. Если бы ее спросили, кого она любит больше, свою тихую и печальную мать или большую и громогласную бабушку, она бы

приздумалась. Нет, она очень любила обеих. Но с бабушкой было веселее, живее, с ней можно было играть, смеяться, пугаться страшных историй, нашептывать по вечерам сказки, петь смешные куплеты, учить наизусть стихи, печь на кухне оладьи, пышные и высокие, собирать с земли желуди и делать из них смешных человечков, шить куклам платья, вязать пинетки и кофточки, покупать потихоньку от мамы коричневые пачечки сладкого гематогена и кисленькие желтенькие – витаминки-драже. Еще можно было кланчить мороженое и трубочки с кремом, ходить в кино на детские сеансы, самые ранние, в девять утра, по воскресеньям, когда мама еще спала.

Бабушка – это вечный праздник и радость, шумные, звонкие поцелуи, запах леденцов, духов «Красная Москва» и папирос «Беломорканал». Бабушка – это смешные черные усики под верхней губой: «Ба, ты же не дедушка, почему у тебя усы?»

Бабушка – это сладкая пшенная каша с изюмом, маленькие сережки с красными камушками, влажная шея и нежные руки, самые нежные и родные, горячие: «Ба, поддержи ручку на лобике! Головка болит».

А с мамой они гуляли в усадьбах любимого композитора. Больше всего любила Майданово, двухэтажный дом на высоком берегу реки Сестры. Бывали и во Фроловском, любовались бесконечными просторами, лесами, полями и речкой Жерновкой. Как интересно рассказывала мама о жизни и творчестве композиторов! Аля слушала ее, затаив дыхание. Увлеченная рассказом, мама розовела и оживлялась, становилась совсем молодой.

Анна Васильевна заболела, когда Аля училась в пятом классе. Стала еще грустнее, еще печальнее, еще тише. На работу она почти не ходила, сидела дома на вечных больничных или лежала в больнице. Домой приходила врачиха из поликлиники, тощая, темная, похожая на засохшую ветку. Длинными, сухими темными пальцами хмуро и нервно писала рецепты, бросая тяжелые взгляды на больную и ее родню, тоненькую перепуганную девочку с узкими косицами и большую толстенную усатую старуху в темном широком платье.

Врачиха все понимала. Жизнь молодой и печальной женщины подходила к концу. По слухам, бабка девочке не родная. Что будет с ребенком? Какая судьба ждет эту милую напуганную девочку? Надо непременно позвонить в детскую поликлинику своей коллеге-педиатру и выяснить, что да как. Возможно, есть другие родственники, поближе? Надо сделать все, чтобы этот ребенок не попал в детский дом — там она пропадет. Такие девочки, как эта, в таких местах не выживают.

Бедная Аня болела неожиданно долго, хотя и анализы были ужасными, и прогнозы врачей не оставляли надежд, и кормили ее принудительно, а она все жила. Последний месяц она провела в больнице. Медсестры шепотом обсуждали участь несчастной, совсем молодой женщины, ее странную родню: огромную усатую тетушку с красными от непрекращающихся слез глазами, крепко держащую за тоненькую, словно прутик, ручку насмерть перепуганную, растерянную девочку. Девочку жаль было больше, чем мать.

Та уже пребывала между землей и небом, в зыбком, затуманенном, неизвестном мире, приходя в себя на пару минут, только когда девочка еле слышно шептала «мама».

Картина была невыносимой.

Медсестры тайком утирали слезы — какое несчастье!

Похороны Ани были печальными. Впрочем, процедура эта веселой не бывает, но здесь все выглядело совсем удручающе — дешевый гроб, оббитый малиновым ситцем, ужасное ноябрьское утро, темное, дождливое, мрачное. Размытая, утопающая в рыжей глине дорога на кладбище, рыдающая старуха, укутанная в черный платок и держащая за руку девочку, серую от страха и горя.

Из провожающих были две женщины, работницы почты: полудебильная уборщица Клава и почтальон Лена, грубая, хмурая, молчаливая, одинокая баба. Обе пришли по просьбе начальницы.

После кладбища поехали к Олимпиаде. Там и помянули несчастную, тихо и скромно, но как положено, селедкой с картошкой, винегретом и поминальными блинами с кутьей. Кутью принесла Клава.

После долгих уговоров Аля молча сжевала холодный блин и ушла в комнату. Не зажигая света и не раздеваясь, легла на кровать и закрыла глаза. Что теперь будет? Теперь она совершенно одна. Мамы нет. Есть бабушка, но она им не родная, и потому ее, скорее всего, заберут в детский дом, она уже взрослая и все понимает. К тому же она прекрасно слышит все разговоры. Вряд ли бабушке удастся ее «отстоять»: возраст не тот, здоровье

подводит. Правда, Аля слышала, как бабушка Липа сказала врачихе, что будет биться до последнего. А та ответила, что шансов мало, даже почти нет. И еще что надо отыскать Алиного отца. Вот он-то точно имеет право на девочку.

Отца. Аля его совсем не помнила. Мама от него сбежала, когда она была грудным младенцем. Отец много пил и распускал руки. Мама говорила, что она спасалась и спасала дочь. Оставаться в том доме было нельзя. Сбежала в никуда, «наобум Лазаря», как она говорила.

Но теперь мамы нет, бабушка старенькая и больная, ходит плохо, дышит тяжело, жалуется на сердце и на все остальное. И бабушка она не родная. По всему получается, что дорога у Али одна — в приют.

Было страшно. Ах как было страшно: больше нет мамы, а скоро не будет и бабушки. Страшно было уходить из родного дома, где она выросла. Страшно было представить другую, незнакомую жизнь. Но было понятно одно — та, другая, новая жизнь уж точно не будет лучше прежней, старой.

Скорее всего, она окажется ужасно тяжелой, страшной, как и само слово «приют».

Через пару дней пришли какие-то люди. Они внимательно рассматривали девочку и задавали чудные и смешные вопросы: не голодает ли она и что, например, она ела сегодня на завтрак и чем ужинала вчера, справляется ли она с уроками и кто их проверяет, кто стирает ей платица, трусики и колготки? Вопросы были странные, девочка терялась и пугалась этих дотошных чужих людей, бросала взгляды на растерянную бабушку, но та, кажется, боялась не меньше ее.

— Уроки, — тихо отвечала Аля, — мне проверять не надо. Я учусь хорошо. Белье, — произнести при незнакомых людях слово «трусики» ей было неловко, — я стираю сама. Мама меня приучила. А на завтрак мы ели овсяную кашу. И бутерброды с сыром.

Дотошные тетки переглянулись и ушли. Все оставалось по-прежнему: Аля жила с бабушкой, ходила в школу, делала уроки и по ночам плакала по маме.

В зимние каникулы случилось неожиданное — снова пришли незнакомые люди и, попросив девочку выйти из комнаты, долго говорили о чем-то с бабушкой. Девочка чувствовала: происходит что-то неладное, страшное, непонятное, то, что непременно повлечет за собой перемены. И эти перемены точно будут ужасными.

Дрожа как осиновый лист, она сидела в своей комнатке, смиренно положив руки на колени: она давно со всем смирилась и любые неприятности, любые новости воспримет как должное. Да и кто спросит ее мнения, кому оно интересно?

После ухода *комиссии* — так назвала теток баба Липа — ее опять не забрали. А вот бабушка долго плакала. Аля вопросов не задавала. Но и в январе ее не забрали, а после Нового года, грустного и очень тихого, баба Липа слегла с давлением. Три раза за сутки приезжала неотложка, каждый день приходил врач из поликлиники, дом пропах лекарствами и болезнью. Баба Липа плакала и обещала девочке, что никому ее не отдаст, никому и никогда, даже если придется лечь на рельсы.

При чем тут рельсы, Аля не поняла, но переспрашивать не решилась. Каждый вечер приходила почтальонша Лена, ни слова не говоря, выносила за бабушкой ведро, перестилала ее постель, подметала дом и вставала к плите. Готовила Лена невкусно, просто, по-деревенски, по-холостяцки, по ее же словам. Аля, привыкшая к бабушкиным оладьям и сырникам, к вкусным супам и тефтелям, с трудом проглатывала подгоревшую гречневую кашу и сыроватую, плохо прожаренную картошку.

После зимних каникул, в первый учебный день, Алю Добрынину вызвали к директору. В кабинете сидела нарядная дама в красивом ярко-фиолетовом костюме и с пышной высокой прической-башней. На очень ухоженных, холеных, с красивым ярким маникюром руках важной дамы сверкали золотые кольца с цветными камнями. Сильно пахло духами.

Директриса, скромная женщина в строгом черном костюме, страдающая мигренями и не признающая косметики и украшательств, страдальчески морщила брови и кривила рот. По всему было видно, что ее вечная мука, головная боль, сегодня опять была рядом.

Испуганной девочке предложили присесть, и важная дама с участливым вздохом принялась задавать ей уже знакомые дурацкие и странные вопросы. Все повторялось сначала.

«Как тебе живется с Олимпиадой Петровной? Кто готовит еду? Кто стирает?» И так далее.

Аля, опустив глаза, отвечала тихо и ровно, заученно и монотонно.

Девочка видела, как по-прежнему страдальчески морщится директриса, и уловила в ее глазах сочувствие и даже жалость. Она уговаривала себя не заплакать, потому что плакать перед *фиолетовой* ей не хотелось. Та наклонилась к ней и, обдавая ее горячим и сладким дыханием, надев на гладкое и безразличное лицо маску сочувствия, с придыханием сказала:

— Милая Алевтиночка! Мне очень жаль, но складывается все не лучшим образом. Поверь, мы очень хотели тебе помочь! Очень! — Она кинула взгляд на молчавшую директрису, ожидая ее поддержки. Та молчала, и тетка, недовольно нахмутив брови, сладко улыбаясь, продолжила: — Дело в том, что мы искали твою московскую родню. Твоего папу и, возможно, других родственников. Но наши поиски не увенчались успехом, увы. Твой отец, — снова короткий, но выразительный взгляд на директрису, — твой отец... Словом, его больше нет. Он умер. Точнее, погиб.

Директриса нахмурилась и кашлянула, фиолетовая запнулась, но тут же вновь заговорила:

— Но не все так уж плохо! У тебя в Москве живет бабушка. Женщина она пожилая, но полная сил. Правда, — скорбный взгляд, — взять тебя к себе, Аля, она еще не готова.

Аля молча смотрела в окно. А фиолетовая все ворковала:

— Но ты не волнуйся! Мы ведем с ней беседы, уговариваем ее, убеждаем, что ты хорошая и спокойная девочка, умница и отличница. И мне кажется, что она согласится. А пока, Алечка, тебе, милая, придется пожить в детском учреждении.

— Зачем ее уговаривать? — не поднимая глаз и теребя край школьного фартука, еле слышно спросила девочка. — Зачем ее убеждать? У меня есть бабушка, с которой я живу всю свою жизнь. Я ее люблю, и она любит меня. И ее, мою бабушку, не надо уговаривать оставить меня.

— Все так! — оживилась фиолетовая. — Только вот бабушка твоя, как ты ее называешь, вовсе тебе и не бабушка. Да и тебе самой это известно. По документам она вообще тебе никто, понимаешь? И усыновление здесь невозможно. Никто ей этого не разрешит! К тому же человек она пожилой и очень больной.

— А та моя бабушка? — так же тихо спросила девочка. — Она что, молодая?

Дама недовольно скривилась и заерзала на стуле.

— Нет, немолодая. Она тоже на пенсии. Но она твоя бабушка, твоя родная бабушка. И она... Она имеет право. К тому же женщина она обеспеченная!

— Никакая мне она не родная, — неожиданно с вызовом ответила девочка. — И упрашивать ее не надо. Я все равно к ней не поеду.

Молчавшая, словно застывшая, директриса дернулась и, уронив карандаш, испуганно глянула на даму с прической.

Та была крайне недовольна всем происходящим и еле держала себя в руках. Она театрально развела руками, всем своим видом показывая, что сделала все, что можно, и, разведя руками, произнесла:

— Тогда одна дорога, моя дорогая, в детский дом!

Побелев от страха и ужаса, заполнивших ее маленькое детское сердце, Аля вздрогнула, вскинула голову и молча кивнула.

Не прощаясь, на ватных ногах она еле-еле вышла из кабинета, думая о том, что ее сильно, очень сильно тошнит.

Дошла до туалета, и там ее вырвало. Но легче, кажется, не стало.

В тот день ее отпустили домой. Шла она медленно, поддевая носками ботинок свежий снежок. Почему не торопилась? А потому, что было страшно рассказать о сегодняшней встрече бабушке. Рассказать о том, что скоро они разлучатся. Вернее, их разлучат. И никто, ни один человек на свете им не поможет, никто за них не заступится – нет у них заступников. Мамы нет, и скоро не будет и бабушки.

Еле сдерживая рыдания, Аля добежала до дома.

Дверь была не заперта. Девочка вбежала в дом и громко крикнула:

– Ба!

Ей никто не ответил. В бабушкиной комнате было пусто, растерзанная постель, разбросанные вещи, в блюде осколки от ампул, ведро, куда ходила баба Липа, стояло полным. Пахло мочой, спиртом, лекарствами и страхом.

Впервые Аля поняла, что одна на всем белом свете. И никто, никто ей не может помочь!

От горя, отчаяния и животного страха она рыдалась.

Но через пару минут встрепенулась, подскочила, схватила пальтишко и шапку и бросилась на улицу.

Наверняка бабушку увезли в больницу! Конечно, в больницу, куда же еще? Сейчас она туда добежит, найдет бабу Липу и обнимет ее! И они обязательно что-нибудь да придумают! Обязательно придумают! И не расстанутся. Никто не сможет их разлучить! А может, им убежать? Собрать самое необходимое, какие-то вещи, бабушкины лекарства, Алину любимую куклу Марину, мамины фотографии и убежать? Страна большая, где-нибудь да пристроятся! И кто-то им непременно поможет. На свете так много добрых людей — так говорила ей мамочка. Найдется, кто их пожалеет, заберет к себе. Как когда-то их с мамой пожалела и забрала к себе бабушка Липа.

Аля обрадовалась такому простому решению и припустилась бегом. Бежала так резво, что стало жарко, и она сорвала с головы шапку. Конечно, есть выход! И она его нашла! Ведь не бывает, чтобы не было выхода! Мамочка всегда говорила: «Даже в самые страшные минуты отчаяния нельзя падать духом! Я убежала с тобой, совсем крошкой, без вещей и денег. А видишь, как все обернулось? Как мы все счастливы? А если бы испугалась? Наверное, уже давно бы лежала в могиле. А что бы было с тобой?»

Мама не испугалась, и она, Аля, не испугается. Мамочка отвечала за нее, а она отвечает за бабушку. Потому что уже взрослая. Конечно, взрослая. Одиннадцать лет — вполне солидный возраст.

Коридор второго этажа больницы был темным, узким и пустым. В самом конце его стоял стол, за которым сидела медсестра и увлеченно что-то читала, подчеркивая в пухлой книге, видимо, учебнике, слова и целые абзацы. С сильно колотящимся

сердцем Аля подошла к столу, постояла, пару раз кашлянула в надежде, что та обратит на нее внимание.

Наконец сестра оторвалась от книги и хмуро уставилась на незваную гостью.

— Тебе чего? И вообще — кто тебя пропустил?

Перепуганная девочка забормотала, что пришла к бабушке, Олимпиаде Петровне:

— Она тут, у вас! Пришла, потому... потому что больше у меня никого нет. Мама умерла, и мы с бабушкой остались вдвоем. Бабушка заболела, а меня хотят забрать в детский дом. А я туда не хочу. Я домой хочу, на Лесную. Там у нас дом и маленький садик. Там у нас хорошо, честное слово! И я пришла сюда за бабушкой. Заберу ее домой, и мы снова будем жить вместе. Буду ухаживать за бабушкой, я умею! У меня мама долго болела, я всему научилась — и судно выносить, и постель менять. И с ложки кормить, и поить из поильника! У нас и поильник есть, еще мамочкин, с носиком такой, и с надписью «Привет из Кисловодска». Соседка привезла, тетя Надя. — Аля выдохлась и замолчала.

Медсестра разглядывала ее и ничего не говорила.

— Вы меня слышите? — с отчаянием спросила Аля.

Медсестра одернула халат, надела лежавший на столе мятый колпак.

— Да слышу я тебя, не глухая! Только ты что думаешь, я здесь главная? Эх, малая! Я сама здесь на птичьих правах. Да и кто меня слушает? В детский дом, говоришь? Да уж... Хреново. Я сама детдомовская, хлебнула по полной. Правда, у меня,

в отличие от тебя, и мамка была, и папка. Только это ничего не меняло. Пили они. Напивались, а потом зверьми становились. Ну и разобрали нас, детей. Сестру с братом усыновили, а мне не повезло, я в приюте осталась. Не пришлась никому. — Она грустно и недобро скривила рот. — Да и ладно, что уж теперь! Видишь — выросла, профессию получила. И ничего, не пропала, не сдохла. Но ты, малая, в детский дом не спеши, слышишь? Бабка твоя выздоровеет или нет — все равно не спеши! Лучше у какой-никакой родни, чем в приюте, ты меня поняла?

Аля кивнула.

— А к бабушке можно?

Медсестра нахмурилась.

— Сегодня посещений нет, у нас с этим строго. Завтра приходи, слышишь? А сейчас домой иди. И бабушку беспокоить не надо, раз только сегодня ее к нам привезли. Усекла, малая? Иди, девочка. У тебя хоть дом есть, есть куда идти. А у меня и этого не было.

Аля развернулась и побрела по коридору.

— Эй! — окликнула ее медсестра. — Ты небось голодная? Пошли чай пить. У меня шоколадка есть, бутерброды с сыром. Пошли, не дрейфь! А то что ты сейчас в пустой дом!

На больничной кухне — медсестра Леля называла ее буфетной — пахло хозяйственным мылом, хлоркой и подгоревшей кашей. На полках стояла посуда — серая, грубая, с неровными краями. На потолке нестерпимым голубоватым резким светом горели, жужжа, лампы дневного света.

Леля открыла холодильник, достала сыр и масло, поставила на плиту огромный алюминиевый чайник и вытащила из шкафа целый батон. Ловко нарезав бутерброды, она налила чай и поломала шоколадку «Аленка».

Аля почувствовала, как сильно проголодалась, — еще бы, ела она сегодня только с утра, да и то не еда — холодный сырник в школьной столовке и ореховый коржик.

Чай был крепкий и сладкий, хлеб мягкий, слой масла толстенный, так же, как и куски сыра.

Наевшись, Аля почувствовала, как нестерпимо хочется спать. Голова клонилась к столу, глаза закрывались. А Леля все болтала. Рассказывала про детский дом, про драки и тычки от воспитателей, про полуголодное существование, про то, как завхоз зажимала конфеты, печенье и вафли к праздникам, как воровали повара, унося домой огромные сумки, как повезло ее сестре и брату, попавшим в семьи и имевшим нормальное, сытое детство.

Расспрашивала Алю — где отец и семья отца, от чего умерла мама, узнала, что бабушка им не родная.

Посочувствовала:

— Ну вряд ли бабке Олимпиаде тебя отдадут, на это ты не рассчитывай. По документам ты ей никто, и им наплевать, что она тебе бабушка. А про московскую бабку ты зря! Зря к ней не хочешь! Может, вполне нормальная бабка, полюбит тебя. Баловать будет. Говоришь, она обеспеченная? Вот и мотай туда, к той родне! Москва все-таки, столица. Квартира своя. Езжай и не думай, слышишь, малая? Ты меня, опытного человека, послушай.

Лучше любая бабка, чем детский дом! Езжай и не сомневайся! И черт с ней, с обидой. Нам с тобой не до гордости. Делай так, как удобно! Ну, усекла?

Борясь с наваливающимся сном, Аля послушно кивала и думала: «Ни в какую Москву я не поеду. И ни к какой бабушке тоже. И квартира ее мне не нужна, и богатства. И наплевать, что она мне родная по крови. Какая она мне родная? Баба Липа — вот кто мне родня, и другой родни мне не надо.

Завтра с утра увижу ее, расскажу ей про свой план, и мы уедем! Тю-тю город Клин и Лесная улица. Страна большая, нам места хватит.

У бабушки есть пенсия, у меня тоже, за маму. Как-нибудь проживем. А потом я пойду работать. Подрабатывать. И прокормлю и бабушку, и себя. Нам много не надо».

Леля, видя, что девочка засыпает, потрепала ее по плечу.

— Иди домой, малая! Оставить здесь тебя не могу. Может проверка прийти — не дай бог. Сразу с работы попрут, здесь с этим строго. А мне только комнату в общежитии дали, знаешь, как я за нее держусь? Иди, тебе же тут близко?

Разморенная девочка натянула капор и застегнула пальто.

— Ты уж прости меня, — извинялась Леля, — ну правда не могу, честно! Добежишь, а?

На улице было сыро и ветрено. Сунув руки в карманы, Аля припустилась к дому. Добежала быстро, минут за десять. Увидела темные окна и расплакалась.

Зашла в дом. Он остыл, и было зябко. Девочка улеглась в постель, накрывшись двумя одеялами.

Второе было бабушкино и пахло бабушкой — родной и бесконечно любимый, знакомый запах. Запах детства, которое в эти дни у нее, кажется, кончилось..

Утром побежала в больницу: главное — увидеть бабушку и все ей рассказать. Наверняка настроение у нее отвратительное — болеет и переживает за внучку. На часах было восемь утра. Больница снова пахла на нее запахами хлорки, лекарств, мочи и столовской еды. По коридорам сновали быстрые медсестры и важные врачи со стетоскопами на груди. Санитарка гремела ведром. Буфетчица толкала тележку с котлом, из котла вырывался пар и запах молочной вермишели. Из огромного чайника пахло какао и пенками.

На посту вчерашней Лели не было — вместо нее сидела и что-то писала полная женщина средних лет в высоком, сильно накрахмаленном, в синеву, колпаке.

Увидев девочку, нахмурилась:

— Тебе чего? Посещения с двенадцати! Давай отсюда!

Аля упрямо и твердо, безо всяких сомнений, сказала:

— Я к бабушке. К бабе Липе. К Олимпиаде Петровне. Мне необходимо ее увидеть. Прямо сейчас.

Удивившись ее напору, медсестра посмотрела в журнал, нахмурилась, покраснела и подняла глаза:

— Девочка, — тихо сказала она, — иди, милая, домой. К родителям. Пусть они придут, слышишь? А ты иди. Иди, милая. Здесь взрослым надо, поняла?

Аля ничего не поняла. Стояла молча, как истукан. Сил пошевелиться не было. И голос, каза-

лось, пропал. В горле пересохло — не проглотить. Да и нечего было глотать — слюна тоже исчезла.

Спустя минуту она все поняла. Больше нет бабы Липы...

Хоронили Олимпиаду Петровну через три дня. Похоронами занимались соседи и почтальонша Лена. Под матрасом нашли деньги — похоронные, как сказала Лена. Тонкая пачечка, завернутая в газету и перетянутая черной аптечной резинкой. Там же, под матрасом, лежали и бабушкины богатства — золотые сережки с красными камушками, часики на браслетике и цепочка с крестиком.

— Твое, — кивнула Лена. — Забирай. Память о бабке.

— Мне не надо. Себе возьмите. А бабушку я и так не забуду.

Удивленно вскинув брови, Лена сказала:

— Ну тогда по-честному: мне сережки, тебе крестик. Ты, чай, крещеная?

— Кажется, нет, — ответила Аля. — Я не знаю.

— Все равно забирай. Пригодится.

На кладбище Аля не плакала. Не было слез. Стояла как каменная, застывшая. Громче всех рыдала Клава, страшно, с подвываниями, как волчица. Аля морщилась, словно от зубной боли, — вряд ли дебильная женщина понимает, что произошло. Впрочем, какая разница. Похоронили бабушку в одной могиле с мамой.

И все повторилось — несколько человек, включая соседей, почтальонша Лена и больная уборщица Клава пришли к ним домой на поминки. На кухне стояли миски с винегретом, картошкой и бли-

нами. Соседка Михална принесла селедку и миску с холодцом — хорошо, что сварила. Как чуяла!

После ее слов Аля впервые заплакала.

После поминок Лена осталась с Алей:

— Пока с тобой разберутся, побуду здесь. А то ведь в приют увезут.

Рано утром Лена, надев ватник и резиновые сапоги и подхватив черную, потертую, огромную сумку, уходила на почту. Аля укутывалась в одеяло и отворачивалась к стене.

В школу она не ходила. После занятий приходила классная, уговаривала пойти в школу, говорила, что так будет легче, да и вообще надо учиться и жить дальше, жизнь, она ведь продолжается.

Аля не слушала, затыкала уши, отворачивалась и мертвым голосом, монотонно, обещала прийти завтра, точно зная, что не придет.

Через два дня явились женщины из опеки, уже знакомая Але инспекторша с башней на голове и в фиолетовом костюме и еще одна, молчаливая, хмурая, болезненного вида, с очень бледным, словно сырое тесто, рыхлым, отечным лицом.

Фиолетовая дама радостно доложила, что московская бабушка отозвалась.

— Ты даже не понимаешь, Аля, какое это счастье! Бабушка обещала приехать сюда через пару дней. Поедешь в Москву, счастливица! Эх, меня бы кто в столицу забрал! — пошутила она, но, поймав взгляд девочки, быстро умолкла. — А пока, Алечка, детка, придется в приют!

Весь разговор Лена стояла, молча прислонившись спиной к печке. На фиолетовую смотрела с ненавистью. Потом процедила:

— Пока я здесь с ней поживу. Здесь, дома. —  
И вышла в сени.

Фиолетовая, кажется, растерялась. Но странное дело — не возразила.

Московская бабушка действительно появилась через три дня. Рядом с ней радостно щебетала разрумьянившаяся фиолетовая инспекторша.

— Девочка замечательная! — тараторила фиолетовая в сенях. — Вам очень повезло! Скромная, тихая, прилежная. Учится на «отлично», успевает по всем предметам, без исключения, поет в школьном хоре, записана в библиотеку. Опрятная и спокойная, не очень контактная, но вполне дружелюбная. Знаете, ведь ей тоже досталось! Не дай бог, как досталось! Ну, вы понимаете.

Аля сидела на аккуратно заправленной кровати у себя в комнате и глядела в стену, удивляясь собственному безразличию. Накануне фиолетовая инспекторша уговаривала ее надеть самое нарядное платье, повязать белые банты, чтобы произвести на московскую бабушку впечатление.

— Ты должна ей понравиться, — говорила она. — По одежке, как говорится, встречают! Ну и вообще. Будь начеку. Ведь в Москву едешь, Алечка! Хватит тебе тут с этой Леной, тупой деревенщиной, жить.

И платье, и белые банты Аля проигнорировала. Сидела в своем домашнем застиранном сереньком байковом платъице.

Дверь отворилась, и раздался сладкий голос инспекторши:

— Алечка, детка! Посмотри, кто за тобой приехал!

Аля медленно повернула голову и увидела худощавую пожилую даму с гладко причесанными темными волосами и ярко покрашенными губами. В ушах у нее были длинные серьги, пальцы унизаны кольцами. На тонких, иссохших запястьях повязывали браслеты. Одета она была в строгий, но очень красивый костюм из синего джерси. Изпод пиджака виднелась красивая, яркая полосатая блузка. По комнате поплыл запах французских духов.

Дама стояла в проеме и пристально, с прищуром разглядывала девочку. Под ее строгим взглядом Але стало неловко.

— Ну здравствуй, Алевтина! — хриловатым голосом произнесла московская дама. — Будем знакомы. Я Софья Павловна, твоя родная бабка. Ну же, Аля. Будем знакомы?

В Москву они уехали через три дня. Новая опекуна подписала бумаги — а их было море, — потом забрали документы из старой школы и собрали нехитрые Алины вещи.

Софья Павловна приговаривала:

— Господи, ну какое же старье! Куда это в Москву, Аля?

Аля хватала небрежно отброшенные вещи и принималась рыдать.

— Это мама купила, — кричала она. — А это мне подарила бабушка!

Софья Павловна смотрела на нее с сожалением. Именно так — не с жалостью, а с сожалением.

— Хорошо, — наконец сказала она. — Бери что хочешь. Набивай чемодан. Только зря, поверь.

В Москве такое не носят. А все, что тебе нужно, я в состоянии купить.

Накануне отъезда поднялся страшный, пронизывающий ветер и началась густая метель.

Аля собиралась на кладбище, попрощаться с мамой и бабушкой. Софья Павловна, зябко ежась и кутаясь в платок, идти отказалась.

— Да и тебя не пущу! — решительно заявила она. — Глянь в окно. Ты что, сошла с ума?

Девочка упрямо надевала рейтузы.

— Я не пойду, — ровным голосом повторила Софья Павловна, — и тебе не советую! Ну раз уж ты такая ослица, иди с этой, твоей... письмоношей! Ну теткой этой странной, в кирзе и в ватнике. А одну я тебя не пущу, ты меня слышишь?

Аля молча натягивала валенки.

— Алевтина! — Софья Павловна вышла в сени и пыхнула голубоватым дымом. — Ты что, оглохла?

— Слышу, — тихо ответила девочка. — Я не глухая. А за Леной зайду. Она тут, рядом, через три дома.

— Не дерзи, Аля, — посоветовала Софья Павловна. — Ни к чему нам ссориться. Поверь, ни к чему.

Ничего не ответив, Аля выскочила на улицу. Сердце стучало от ярости. «Никогда ее не полюблю, никогда! Потому что я ее ненавижу!»

Три часа дня, а серо, темно. Небо низкое, тяжелое, вот-вот рухнет на голову. Ветер воет страшно, по-шакальи. Густой снег метет в лицо, залепляет глаза, нос и рот. Дышать трудно, слезы из глаз.

Добрела до Лениного дома, постучала в окно. Та выглянула, удивилась, выскочила на крыльцо. Испугалась:

— Как на кладбище? Сейчас? Ты что, девка? Как дойдем-то? А там? Как проберемся?

— Тогда я одна, — твердо сказала Аля и развернулась в сторону калитки.

— погоди ты, чокнутая! — выкрикнула Лена и через минуту догнала Алю на улице.

Кое-как добрались. Наломали еловых веток, положили на могилу. Аля не плакала — слезы закончились. Их и так было много. Может, все выплакала? Да и слова тоже... закончились. Хотела прошептать что-то, а горло словно заледенело, будто туда засунули кусок острого, колкого льда.

Попрощалась про себя, мама и бабушка все равно слышат.

Лена проводила ее до дома, неловко чмокнула в ледяную щеку, провела ладонью по голове.

— Давай, девка, бывай! Ты здесь того, не волнуйся, за могилками я посижу! Сама знаешь, Петровна для меня была заместо матери! А ты не дрейфь! И столицы не бойся! Подумаешь! Везде люди живут. Эх! А эта твоя... ну в смысле бабка. Может, и ничего окажется, а?

Отвернувшись, Аля промолчала.

Хотелось прижаться к Лениному потертому бушлату, пахнувшему дымом и старьем, к ее рукам, грубым, шершавым, со стесанными от работы ногтями. Прижаться и упротить Лену оставить ее, не отдавать. Потому что не хочет она ни в какую Москву, ни в какую отдельную квартиру, пусть

даже с центральным отоплением и горячей водой. И к бабушке этой родной она тоже не хочет. Пусть та красивая и похожа на даму из фильма, и кольца у нее красивые, и шуба. И пахнет от нее хорошо. Только она ей чужая, чужая!

Вслух она ничего не сказала — понимала, что бесполезно. Лене ее не отдадут. Да и вообще все решено. И завтра они с Софьей Павловной уедут в Москву.

В электричке Аля уснула и проспала почти до самой Москвы.

На вокзале было шумно и суетно, повсюду сновали толпы — люди с вещами и без, носильщики с лязгающими металлическими тележками, милиционеры со свистками, толпа золотозубых, орущих цыганок в пышных разноцветных юбках, пьяные с фингалами и отеками лицами — не только мужчины, но и женщины.

В здании вокзала пахло кофе и выпечкой, Аля слотнула слюну и посмотрела на бабушку.

— Что ты! — брезгливо сморщилась Софья. — Есть на вокзале? Чтобы потом загреметь в больницу? Нет уж, потерпи. Приедем домой, бросим вещи и пойдем в нормальное место. Туда, где проверено.

Про «нормальное место» Аля не поняла. Но переспрашивать не стала.

Очень хотелось в метро. Удивилась, когда Софья Павловна решительно направилась на стоянку такси. Разочарованная, она шла сзади.

— В метро? — нахмурилась Софья Павловна, услышав ее робкий вопрос. — С вещами в метро? Нет, дорогая. Годы у меня не те. А метро, Аля, по-

верь, тебе еще надоест. — И она, хитро подмигнув, добавила: — Ты же теперь москвичка.

Аля оглядывалась по сторонам и удивлялась. Всему удивлялась: и бесконечному, непрекращающемуся, как полноводная река, потоку спешащего, бегущего народа, и высоченным зданиям, и широким улицам, и резким сигналам машин, и свисткам милиционеров. Нет, ей не нравится эта Москва.

«Как все громко, — подумала она. — И как ко всему этому можно привыкнуть?» Вспомнился родной городок, тихая Лесная улочка, палисадник у дома, бабы-Липины астры. В глазах закипели слезы. Все чужое. И город чужой, и звуки. И запахи. И эта красивая старуха в широкой каракулевой шубе и в кольцах — тоже чужая. И никогда Аля ее не полюбит. Никогда.

Такси остановилось в узком переулке, у красивого шестиэтажного дома с выпуклыми полукруглыми окнами.

Софья Павловна рассчиталась с водителем, и, почтительно поклонившись, он донес чемодан до дверей подъезда.

— До лифта, голубчик! — Софья Павловна вскинула голову.

И тот, как ни странно, мелко и радостно закивал.

«Какие все вежливые, — подумала Аля. — Даже шоферы такси».

Подъезд с мраморными, слегка щербатыми ступеньками и высоченным сводом и лепниной на потолке Алю потряс. Чугунные витые перила с гладкими, отполированными, блестящими деревяшками, высоченные, метра в три, темные квадратные двери квартир, солидные, с латунными кнопками

звонков и такими же ручками. И лифт — уютная коробочка с потрескавшимся зеркалом и затертым донельзя красным ковриком.

Шофер почтительно поставил чемодан в лифт, чуть поклонился бабушке и, как военные, смешно отдал честь.

— Нажимай третий, — скомандовала Софья Павловна, и Аля осторожно нажала на кнопку.

Лифт ехал медленно, чуть постанывая и побрякивая, как древний старик. Впрочем, и был он возраста очень почтенного.

Софья Павловна достала связку ключей, провернула один, потом другой. С усилием толкнула тяжелую дверь.

— Ну, Аля, заходи. Мы дома.

Аля осторожно зашла вслед за хозяйкой.

Вспыхнул свет, теплый, неяркий, желтоватый, и осветил широкую, просторную прихожую. Аля застыла, оглядываясь по сторонам. Ну и потолки! Таких она еще не видела. Вешалка-рогатка с бронзовыми крюками, тяжеленная даже на вид. На ней несколько вещей и две шляпы. Сундук с резной крышкой, узкое длинное зеркало над такой же узкой, в размер, тумбочкой. На тумбочке телефон и пара длинных перчаток.

И пол — темно-коричневый, из деревянных планок, местами потертый, с растрескавшимися швами, поскрипывает и постанывает — странный пол, чудной! «Кажется, это называется паркет», — вспомнила Аля.

— Раздевайся, что ты застыла? — Софья Павловна сбросила шубу и платок, присела на сундук с коваными углами и стала снимать сапоги.

Аля сняла пальто и потянулась к крюку. Еле достала. Сняла ботинки и аккуратно поставила их к двери, чтобы не так бросались в глаза. Ботинки были сиротские, коричневые, потертые. Из детского магазина. Но ехать в валенках было куда хуже — совсем стыдоба.

Софья окликнула ее откуда-то из глубины квартиры.

— Аля, ну где ты застряла? Иди сюда! Покажу тебе наше хозяйство.

В квартире оказалось четыре комнаты. Гостиная, спальня Софьи Павловны и бывший кабинет Алиного деда, известного драматурга. Ну и так, четвертая.

— Там сейчас, — Софья Павловна запнулась, — там сейчас ничего.

Аля потом поняла, что та, четвертая, и была комнатой ее отца. И именно туда, в эту комнату, ее принесли из роддома.

— Здесь ты и устроишься, у деда, — сказала бабушка, распахнув перед Алей тяжелую дверь.

Аля стояла на пороге и молчала.

Комната была узкой и удлиненной. Тот же темный, паркетный пол, книжные шкафы вдоль стены, диван с подушками, тумбочка у дивана, настольная лампа, застывший будильник.

Но главное — стол. Огромный письменный стол у окна. Массивный, широкий, со столешницей в зеленом сукне.

На столе аккуратно разложены книги и блокноты, в зеленом стакане карандаши и ручки, чернильница с остатками засохших чернил.

— Остатки прежней роскоши, — проговорила Софья Павловна. — Здесь работал твой дед, Лев Ни-

колаевич. Почти как Толстой, — усмехнулась она, — но не Толстой! И зачастую здесь ночевал. Пока все не закончилось. Ну, что замерла? Ничего, освоишься. Давай тащи сюда свои манатки. И пошли дальше.

Комната Софьи Павловны оказалась напротив — кровать с высоченной деревянной спинкой, шелковое, царское, покрывало, две тумбочки, на одной настольная лампа с молочно-синим стеклом. Верхний светильник с синими хрустальными подвесками, изящное кресло в шелковой цветочной обивке, коврик у кровати, темно-вишневые шторы. «Как в замке, — подумала девочка. — Красиво и полутемно».

Гостиная оказалась совсем волшебной — диван на гнутых ножках и парные кресла, полукруглое окно, золотистые легкие шторы, огромная хрустальная люстра с мутноватыми подвесками, большой полукруглый ковер с немного стертým рисунком, комод — нет, буфет, — набитый посудой. На комод-буфете две высокие узкие вазы с затейливыми птицами и картины на стене. Разглядывать их было неловко.

«Еще успею, — подумала потрясенная Аля. — Неужели это мой дом и я буду здесь жить? Нет, не верится. Нет, не мой. Мой дом там, в Клину, а здесь я всегда буду гостьей. К тому же — незваной. И во все мне не повезло. Совсем. И зря мне завидовали девочки в классе. Подумаешь — Москва! Я сюда не стремилась».

Кухня оказалась маленькой, обычной, запущенной и довольно обшарпанной. Большой деревянный буфет, старая плита, старый холодильник. Обшарпанные стулья и шаткий стол.

— Ох, ты же голодная! — вспомнила Софья Павловна. — А холодильник у нас пустой.

На всякий случай она открыла холодильник и убедилась, что права, — там было пусто.

— Ну что? В ресторан? — спросила она.

Аля не знала, что сказать, и промолчала.

— А может, сейчас просто чаю с печеньем и отдохнем? Я очень устала. А после можно и в ресторан. Как думаешь?

Аля кивнула. Чувствовала, что и сама не прочь отдохнуть.

Печенье нашлось, варенье тоже. Чайник закипел быстро, Аля едва успела переодеться и вымыть руки.

Выпили чаю и разошлись по своим комнатам.

По своим! У Али есть своя комната. Странно, правда? И очень чудно.

Чемодан разбирать не хотелось, и она прилегла на диван, накрылась пледом, выданным бабушкой, и закрыла глаза.

Началась новая жизнь. Какой она будет? Страха, кажется, не было. Софья Павловна оказалась невредной и с юмором.

Но Аля заплакала, сама не понимая почему. Все вроде бы складывалось удачно. Но почему на сердце такая тоска?

Вечером собрались в ресторан. Отдохнувшая Софья Павловна оживленно примеряла наряды.

Все ее наряды были прекрасными, но немного старомодными, что ли. Как будто их достали из костюмерного цеха.

Перехватив внучкин взгляд, она усмехнулась.

— Вот-вот. Каков поп, таков и приход. Реликвия, да? И мои наряды, и я сама. Верно, Аля?

Аля смутилась и покраснела как рак.

«Да, парочка из нас! — подумала девочка. — Софья Павловна в доисторических нарядах и я, бедная сиротка из глухой провинции в платье из местного «Детского мира». А про ботинки и говорить нечего. Не ботинки — позор. Есть охота, а в ресторан страшно, потому что неловко. Может, нажарить картошки и уговорить Софью Павловну остаться дома?»

Предложить Софье Павловне остаться дома она не решилась, и они пошли в ресторан, находившийся неподалеку. Усатый, важный охранник, швейцар, как сказала бабушка, галантно поклонился им и приложил руку к козырьку.

— Добро пожаловать, Софья Павловна!

Ничего себе, а? Выходит, она здесь завсегда-тай?

Так же почтенно и вежливо их сопроводили до столика, стоящего в дальнем углу, — самого уютного, как показалось Але.

Софья размялась и оживилась, даже помолодела.

«А она ничего, — подумала Аля, — красивая. А в молодости, наверное, вообще была красавицей».

Вежливый официант осведомился:

— Меню или как всегда, Софья Павловна?

Вальяжно откинувшись в кресле, она закурила и небрежно махнула рукой:

— Как всегда, разумеется! Вкусы мои ты, Антон, знаешь. А вот юной леди, — бабушка посмотрела на красную Алю, — меню. Что будешь, Аля?

Впавшая в ступор Аля молчала.

— Ничего, попривыкнет, — улыбнулась Софья Павловна. — Неси девушке бульон с пирожком, котлету по-киевски и на десерт самое большое мороженое.

Аля не поднимала глаз от стола. Ну хорошо, бульон с пирожком — это понятно. Сто раз она ела и бульоны, и пирожки. Бабушка Липа пекла пирожки с чем угодно — и с капустой, и с повидлом, и с картошкой, и с рисом, и с зеленым луком. За луком на огород бегала Аля. Липины пирожки были огромными, с тарелку, плотные и неровные, даже кривые. Да и начинки в них было немного.

«Еда бедных, — грустно говорила мама. — Сытно, и ладно». Почему для бедных, Аля не понимала: очень ведь вкусно!

А вот что такое за зверь котлета по-киевски? Котлеты давали в школе: серые, в подгоревших сухарях, твердые, словно каменные. После них долго оставался неприятный привкус прогорклого жира — хотелось прополоскать рот. И тут, в ресторане, тоже котлеты? Разве это праздничная еда? По-киевски... Ну ладно, увидим. Наверняка в Киеве едят обычные котлеты, почти такие же, как везде.

На маленькую эстраду вышла молодая женщина в очень узком серебристом переливающимся платье-чешуе. Позади нее встал мужчина с гитарой. Софья Павловна вытянула шею, чуть привсталала и помахала певице, та послала ей воздушный поцелуй.

— Слушай, — сказала Софья Павловна Але. — Лилька поет бесподобно! Сейчас получишь такое удовольствие!

Аля послушно кивнула.

Певица долго настраивала микрофон, что-то говорила, обернувшись к гитаристу, кажется, они даже о чем-то поспорили, но наконец заиграла музыка, и она запела.

Аля застыла от неожиданности и захватившего ее восторга — такого она еще не слышала. Голос звучал хриловато, приглушенно, завораживающе. Это была песня на иностранном языке, Аля догадалась, что на французском.

Раньше она слышала звонкие, сильные голоса. Например, у Зыкиной или Воронеж. Или вот Шульженко — мама ее любила. Еще Аля слыхала, как поют Лев Барашков, Майя Кристалинская, Эдита Пьеха. Но это было не то. Эта Лиля... вроде и не поет, а нашептывает. И голоса звонкого нет. Микрофон она обнимала как мужчину, глаза ее были прикрыты. Она слегка покачивала бедрами, чуть поводила плечами, иногда вскидывала белую полноватую обнаженную руку, закрывала глаза, опускала голову. Это был целый спектакль, разыгранный необыкновенным, очень талантливым актером. И ничего, что Аля не знала французский, — все было понятно и так. Молодая женщина любила, страдала, скорее всего, ее покинул возлюбленный, и она пыталась жить со своим горем, но у нее, кажется, не получалось.

Песня закончилась, и Лиля немного небрежно поклонилась публике. Раздались аплодисменты, яростные, громкие, послышались крики «браво».

— Ну как тебе, а? — спросила бабушка. — Фантастика, правда? Лилька — огромный талант! А ведь представь — нигде не училась. Да и при чем тут учеба — талант либо есть, либо нет. Но ее куда не

берут — никто этого не понимает. Говорят, «что вы там шепчете?». Идиоты. За границей ее бы рвали на части — была бы миллионершей. А здесь нужны песни другие, увы. Хорошая она девка, только дурная, — добавила Софья Павловна и, будто спохватившись, не стала продолжать: — Ну да ладно, ее жизнь.

Официант принес заказ. Бульон был обычный, ничего особенного. Правда, подали его не в тарелке, а в маленькой круглой мисочке с двумя ручками. Мисочка стояла на тарелке, а сбоку на салфетке лежал пирожок, маленький, с небольшой огурчик, смуглый, румяный, вытянутый и очень ровный. «Не пирожок, а смех, — подумала Аля и осторожно надкусила. Пирожок таял во рту, растворяясь божественным вкусом. Нежнейший, чуть хрустящий — одна сплошная начинка. Но... на один уку! Аля чуть не заплакала — таких пирожков она умяла бы штук двадцать, не меньше! Мальчик-с-пальчик, а не пирожок. Но просить еще было неловко.

Бульон был обычный, только пах укропом и еще какой-то травкой.

Софья Павловна резала ножом огромный кусок еще шипящего мяса. Поймав недоуменный взгляд внучки, она усмехнулась:

— Знаю, что вредно, но иногда, — она подмигнула, — надо баловать себя, запомни! Доставлять себе удовольствие.

Аля нерешительно кивнула.

А вот котлета по-киевски оказалась совсем не котлетой! В сооружении золотистого цвета, похожем на небольшую ракету, торчала палочка с кружевной салфеткой-бумажкой.

Аля не могла понять — взять котлету за кружевную ножку и надкусить? Или разрезать ножом? Ведь не зря на стол был положен нож?

В растерянности она посмотрела на Софью Павловну.

— А, — сообразила та, — учись! Ножом, ножом. Только крайне осторожно — внутри горячее масло! Тихонько режь, плавно и нежно. Давай, не робей! Но осторожно, — повторила она.

Осторожно не получилось, горячее масло брызнуло на платье. Аля расстроилась до слез.

— Не ты одна, — улыбнулась Софья Павловна. — Лиха беда начало. А платью твое все равно на помойку! Ешь и не обращай внимания.

Аля осторожно попробовала. Ах какой нежный вкус!

Котлету съела до последней капельки, запивая клюквенным морсом.

Софья Павловна управилась с мясом, допила остатки коньяка и, откинувшись на спинку стула, блаженно закурила.

— Хорошо, — улыбнулась она. — Вот теперь хорошо. Понравилось? Вкусно?

Аля выставила большой палец.

— Еще как! Ну и вообще, — она оглянулась и кивнула на певицу, — здорово!

Певица Лиля продолжала петь. Все песни были на иностранных языках, и все печальные, даже немного тоскливые.

— Вы понимаете, о чем она поет? — спросила Аля.

— Кое-что. По-французски почти все, по-английски частично. А вот итальянского я не

знаю, увы. И, Аля! — Софья нахмурилась. — Хватит мне выкать!

Ничего себе! По-французски все, по-английски частично.

Аля с восторгом и уважением посмотрела на Софью Павловну.

После очередной песни и объявленного перерыва певица Лиля подошла к их столику. Бабушка предложила ей присесть.

Аля жадно разглядывала певицу. Вблизи она оказалась не такой молодой, как на сцене. Морщинки под глазами, грустная складка у губ. Усталые и грустные глаза.

Лиля выпила рюмку и закурила.

— Ну как ты? — спросила бабушка. — Впрочем, и так вижу.

— Все так же, тетя Соня. Все так же. И ничего, ни-че-го не изменится!

Софья Павловна строго на нее посмотрела:

— Все зависит только от тебя, девочка. И ты это знаешь.

Лиля ничего не ответила, загасила сигарету, усмехнулась, встала, одернула узкое платье.

— Ладно, тетя Соня. И вы, и я все понимаем.

И, чуть покачивая бедрами, направилась к сцене.

Аля сидела как замороженная. Ничего себе, а? Ее родная бабушка знакома с известной певицей, и эта певица называет ее тетя Соня. И бабушка знает про нее что-то такое... Ах как все интересно и как хочется об этом спросить! Но неловко, Софья Павловна подумает, что Аля слишком любопытная.

Вышли на улицу. Под фонарями плясал мелкий снежок. Было тепло, и Аля стянула шапку.

Бабушка глянула коротко.

— Зря. Простудишься. Чай не лето. Лучше на-  
день. Давай пройдемся, а? Такой чудный вечер!

«Да с радостью!» — хотела выкрикнуть Аля. Пройтись по Москве! По вечерней Москве, по самому центру! Под светом фонарей и реклам, под звуки проезжающих машин. По Москве! Неужели это все происходит с ней, с Алей Добрыниной, простой провинциальной девчонкой, сиротой, которая чуть не попала в детдом?

И идет она рядом с родной бабушкой Софьей Павловной Добрыниной и держит ее под руку, чтобы та не упала. Бабушка пожилая, но странно так ее называть — она еще очень бодрa, у нее ярко накрашены губы, ходит она на каблучках, пусть небольших, но все-таки. И пахнет от нее не хозяйственным мылом, а французскими духами. И на шее у нее модный шарфик из голубоватого шелка. И маникюр. И довольно длинные ногти. А на пальцах столько колец! Еще у нее стройные ноги и очень прямая спина. Да и вообще она не похожа на бабушку. К тому же она знает французский, понимает по-английски и знакома с настоящей певицей. Выходит, Але страшно повезло?

Аля рассматривала близстоящие дома, а Софья рассказывала ей про Москву. Родилась она до революции, в девятом году. Была коренной москвичкой, в третьем поколении, из когда-то большой и небедной семьи. Старый дом на Ордынке, где прошло ее детство, Софья помнила плохо. Родителей потеряла рано, в молодости. Гимназию окон-

чить не успела, революция. В семнадцать окончила курсы секретарей, работала при важном начальнике. Потом сошлась с ним.

Сошлась? Что это значит? Аля не понимала, но ей казалось, что догадывалась. Спросить она не решилась.

Роман был тяжелым, но, по счастью, недолгим. Потом встретила Алиного деда, Льва Добрынина.

Добрынин был старше ее на пять лет и работал корреспондентом в газетах, а по ночам писал пьесы, мечтая стать известным драматургом.

Он влюбился в Софью Павловну, тогда она была ого-го, и женился. Довольно скоро мечта деда сбылась, и его пьесы гремели в театрах молодой Советской республики. Появились деньги, знакомства, богемный круг и — развлечения. Жили они богато и весело: большие компании, премьеры, санатории, рестораны. Через несколько лет у них родился сын Саша, Александр, Алин отец.

— И вскоре веселье закончилось. Навсегда.

Они дошли до дома.

— Все, отдыхать, Аля. Все остальное оставим на другой раз. Сразу всего не расскажешь. Такая большая жизнь, девочка. — Софья горестно махнула рукой. — Завтра у нас много дел, — раздеваясь, объявила она. — Привести в порядок твою комнату, чтобы тебе было удобно. Отнести документы в новую школу. Съездить на рынок — у нас с тобой пусто. Кстати, вызвать Машу! Это домработница, подробности не сейчас.

Аля послушно кивала. Софья Павловна пошла к себе — спокойной ночи.

— Да, — она обернулась, — и обязательно Стефу. Да-да, Стефу. И как я забыла? Такой суматошный день, — бормотала она. — Стефе позвонить с самого утра! Иначе сбежит, я ее знаю!

— А кто это — Стефа? — осторожно спросила Аля.

— Стефа? — удивилась Софья Павловна. — Портниха! Будет тебе собирать гардероб. Стефка обшивает весь бомонд. Вернее, обшивала. Ну не в «Детский мир» же нам ехать, правда?

Аля растерянно и смущенно промолчала. Ей все было непонятно. Все, вся эта новая жизнь! И певица Лиля, бабушкина знакомая. Похоже, хорошая знакомая. И домработница Маша. Домработница? Кажется, домработницы есть только у очень богатых и важных людей. А бабушка Софья сама про себя говорит, что она — «обломок красивой жизни, как старые декорации, древний интерьер, антиквариат». Но она же пенсионерка и живет на пенсию? Разве можно держать работницу на пенсию и ходить в рестораны? И кажется, бабушка там завсегда. И портниха Стефа, обшивающая бомонд, будет собирать гардероб ей, какой-то провинциальной девчонке?

Ничего Аля не понимает, ничего. И неловко спросить. Ну и ладно, все как-нибудь встанет на свои места, она разберется.

Самое главное — ее новая бабушка, Софья Павловна Добрынина, человек не злой и невредный. И с ней, кажется, можно ужиться. Главное — что ей уже не так страшно. Так, совсем чуть-чуть, на четверть мизинца, как говорила бабушка Липа. А четверть мизинца — это вообще чепуха.

Спать не хотелось. Удивилась — так устала, такой длинный день! Но диван был жестким и неудобным, одеяло слишком тяжелым, в комнате было душновато, а окно открыть не получилось. Да еще уличный фонарь светил прямо в глаза.

Аля ворочалась, вставала, ходила на кухню попить, заглядывала в гостиную, в ванную и туалет, немного посидела на кухне. В трубах журчала вода, и, подрагивая, гудел холодильник. «Странно все, — думала Аля. — Холодильник такой древний, даже у них на Лесной был современнее. И плита ужасная, ободранная и совсем старая. Как будто кухня Софью Павловну совсем не интересуется. А в гостиной и в спальне красота».

Все здесь чужое. Все. И вряд ли станет родным. Или она не права?

А назавтра закрутили дела. Софья Павловна развела бурную деятельность «по внедрению Алевтины в столичную жизнь». С самого утра она сидела на телефоне, давала указания, говорила елейным, просящим голосом, острила, переходила на трагический шепот, громко смеялась и тяжело выдыхала, закончив разговор.

В полдень появилась Маша, помощница и бывшая «домоуправительница». Как позже поняла Аля, постоянная Машин служба давно закончилась, приходила она нечасто, раз-два в неделю, как сама говорила, «по надобности».

— А как ее, Софью, бросить? — хмурилась Маша. — С голоду вспухнет! Ведь все по ресторанам, по ресторанам привыкшая! А на что теперь рестораны? А? Вот и я говорю — хорошая-то жизнь давно

кончилась. А она все никак не может смириться, — с осуждением говорила она.

В Машины обязанности входила несложная, поверхностная и довольно халтурная уборка — смахивание пыли с поверхностей, возня со сто лет не стиранной половой тряпкой, от которой и без того запущенный пол не становился чище.

— А раньше был Мишка, — продолжала ворчать Маша, — полотер. Приходил в месяц раз и гарцевал, как конь, на площади. Ногой раз, раз — и все блестит, как во дворце!

Судя по всему, Мишки давно не было.

Еще Маша готовила обед. Это была ее собственная инициатива, Софья Павловна об этом ее не просила.

Когда Маша заступала на кухню, хозяйка брезгливо морщилась и старалась уйти из дома. Повариха из Маши и вправду была никакая. Простейший бульон непременно перекипал и превращался в мутную, неаппетитную серую субстанцию, есть которую не хотелось. Тушеная капуста напоминала столовскую, котлеты были жесткими и подгоревшими, но Маша искренне считала, что спасает хозяйку от голодной смерти.

После Машиного ухода Софья Павловна, воровато оглядываясь, словно ее могли застать за непристойным занятием, немедленно выбрасывала в помойку Машины «шедевры».

Спустя несколько лет, когда Маша попала в больницу и Софья Павловна делала все, чтобы ей помочь, Аля осмелилась спросить, зачем же они держали такую бестолковую домработницу?

Софья рассказала, что Маша была дальней родственницей деда, из деревни приехала совсем молодой, взяли ее из жалости, а потом из жалости не выгоняли, хотя толку от нее было как от козла молока.

Много лет она жила при них, в чулане за кухней, где после ее ухода хранилось всякое тряпье и старье, детские лыжи Алиного отца, его же огромный катушечный магнитофон, гигантская скороварка, бак для выварки белья и деревянные щипцы для кипячения, детская ванночка — Алина или ее отца, бабушка так и не вспомнила, — ну и все остальное, то, что давно пора было выкинуть, да все недосуг. Раньше Маша не позволяла, а после было не до того.

Спустя много лет дед выбил Маше комнату где-то за Калужской заставой, и та, обретя независимость, стала дерзкой и окончательно неуправляемой. Ну а когда дед перестал жить дома, вовсе ушла. Работала уборщицей в продуктовом, таскала оттуда какие-то продукты и с жестом миллионерши выкладывала эти продукты на стол бывшей хозяйке. Продукты, как правило, были просроченными. Софья Павловна, не заглянув в кульки, все тут же выбрасывала.

Портниха Стефа заболела и не приехала. Правда, обещала на следующей неделе.

— Ну ладно, успеем, — решила Софья Павловна.

Идти в новую школу Аля боялась. Пусть Софья Павловна сто раз объяснила, что школа прекрасная, со своими традициями, учителя как на подбор, директриса — большая умница и ее знакомая,

а уж девочки и говорить нечего — все из прекрасных, интеллигентных семей.

Так все и было. Учителя были хорошими, доброжелательными, в класс ее привела сама директориса Антонина Семеновна, высокая, статная дама со строгим лицом и тяжелой, закрученной в здоровенный бублик косой.

— Ничего не бойся, — сказала она, мягко подтолкнув перепуганную Алю в спину. — Ну иди. Вперед и с богом.

С богом? Ничего себе! Или Але послышалось?

Чуть не споткнувшись на пороге, она вошла в класс.

Воцарилось молчание.

Не поднимая глаз, Аля села за парту. Ее соседом оказался пухлый мальчик с надменным лицом.

На первой же перемене ее обступили девочки. Рассматривали с неподдельным интересом и удивлением, но Аля заметила, что взгляды их были недоуменными и насмешливыми — откуда взялось это чудо? Ну и, конечно, закидывали вопросами: «Откуда ты взялась?», «Где живешь?», «Кто твои родители?» и еще сто вопросов, от которых Аля совсем растерялась.

Говорить правду? Что отец спился, а мама умерла от тяжелой болезни? Рассказать, что когда-то ее мама сбежала от отца, прихватив грудную дочь? Что приютила их, по сути, чужая старуха, а родная бабушка даже их не искала? А вот теперь, когда умерла мама, родная бабка пожалела ее, как брошенного щенка, смилостивилась и забрала к себе? Рассказать о том, что ее, Алю Добрынину, собира-

лись забрать в детский дом? Нет, невозможно! Она сойдет с ума от стыда и позора.

— Родители погибли. — Короткий ответ исключал подробности. Девочки участливо смотрели на нее — прошелестело: «Бедная! Кошмар».

Выдохнула. Зато объявила, кто ее дед. Похвасталась. Девочки удивленно переглянулись.

Одна из них, красивая, полноватая, пышногрудая брюнетка, явная лидерша, презрительно усмехнулась:

— Твой дед известный драматург, а ты жила в провинции? А чего не в Москве? — И, скривив нижнюю губу, победно оглядела притихшую стайку девчонок, она кивнула на Алины ботинки: — А чего ты такая ободранная? Дед скупится? Или бабка денег жалеет? Ботики твои — вообще мрак! А колготы? А передник, господи! Откуда ты его выудила? Место покажешь? Такой деревни у нас еще не было! — И она рассмеялась.

Воцарилось молчание. Было слышно, как на окне жужжит муха.

Девочки растерялись и жалко улыбались. Але хотелось броситься прочь, чтобы они не увидели ее слез. Чуть поодаль, наблюдая за ними, стояла высокая девочка с выпуклыми светло-голубыми, почти прозрачными, льдистыми глазами и с очень красивыми пепельными волосами, распущенными по плечам и схваченными бархатным обручем.

И тут раздался ее голос:

— Ты на себя посмотри, Волкова! Ты у нас модная, да? Еще бы! Мамаша твоя на складе ворует, а папаша? Папаша на продуктовой базе грузчиком, я не ошиблась? Надо же! — с усмешкой продолжала

она. — Вот удивительно, правда? Товаровед и грузчик, всего-то! А Наташа Волкова первая модница! Кстате, Волкова, где тебе лифчики достают? Дашь адресок? У меня домработница Дашка тоже сисястая! Пряма беда с этим делом!

Красная и вспотевшая, Волкова быстро ретировалась. Девочки растерянно смотрели ей вслед.

У Али перехватило дыхание. Что сейчас будет! Но точно ясно было одно — в эту школу она ни ногой.

— И так будет с каждой! Ясно? — проговорила блондинка. — Суки вы, вот кто! Человек, — она яростно сверкнула глазами, — сирота, без родителей! А вы, гадины? Рассматриваете ее как мартышку в зоопарке! И посмеиваетесь. И дуре этой, кобыле Волковой, подпеваете!

— Пойдем! — велела она Але.

В эту секунду раздался спасительный звонок. Девочки потянулись в класс. Блондинка почти втащила Алю за руку.

Алин сосед, толстяк с оттопыренной губой, уже сидел на своем месте.

Блондинка подошла к нему.

— Никольников, брысь, и побыстрее!

Никольников, подхватив свой портфель, тут же исчез.

— Чего стоишь? — Блондинка посмотрела на Алю. — Садись! Ну и я, если не возражаешь!

Ошарашенная, Аля медленно опустилась за парту. Обернулась — бледная Волкова сидела на месте и что-то сосредоточенно писала в тетради. Что писала? Странно. Был урок биологии, задания еще не дали, и пока писать было нечего.

После школы Оля — так звали блондинку — ждала ее на улице.

— Ну что, пошли?

Аля кивнула.

По дороге купили мороженое. Оля рассказывала ей про свою жизнь. Выяснилось, что Олин папа — музыкант, играет на баяне, а мама — танцовщица, балерина, работают они в знаменитом ансамбле «Березка».

Оля рассказывала, что родителей почти никогда не бывает дома — гастроли. Живет она с няней Дашей, да и слава богу. По родителям, конечно, скучает, но без них тише и спокойнее — никто не контролирует уроки и не приказывает, когда возвращаться с прогулок. А Дашку всегда можно уговорить. В выходные Оля предложила сходить в зоопарк, а после посидеть в кафе-мороженом.

«Кажется, у меня появилась подружка», — с восторгом подумала Аля, надеясь, что Софья Павловна отпустит ее в выходной.

Но, придя домой и вспомнив свое сегодняшнее унижение, отказалась от обеда и пошла к себе. Легла и заплакала. Оля — это, конечно, здорово! Спасибо ей пребольшое! Но все равно она здесь чужая. И всегда будет чужой — сиротой, тихой провинциалкой, да что там — деревенщиной! И никогда она не будет своей. Такой, как эти шустрые, говорливые и смелые девочки. Она, Аля, другая.

Постучавшись, заглянула растерянная и обеспокоенная Софья Павловна.

— Аля, в чем дело?

Громко всхлипнув, Аля ответила, что все хорошо.

— Ты плачешь? Тебя кто-то обидел?

Ничего не ответив, Аля расплакалась еще пуще. Софья Павловна присела на край кровати.

— Так, давай все по порядку. И ничего не скрывай, поняла?

И Аля все рассказала. И про «ободранную», и про «жалеют», и про «деревню, которой тут не было». Все.

— Все правильно, — неожиданно заключила Софья Павловна. — Это я виновата. Не реви, девочка, мы все исправим — я тебе обещаю.

К вечеру появилась Стефа, яркая женщина непонятного возраста — то ли тридцать, то ли пятьдесят. Потом оказалось, что ей хорошо к шестидесяти.

Стефа была некрасивой, но очень фигуристой. Одея она была потрясающе. Не выпуская из тонких, узких губ длинную черную тонкую сигарету и надев на запястье бархатную подушечку, утыканную иголками, Стефа крутилась вокруг Али, подкалывая ткань, и не переставала болтать.

Алю ни о чем не спрашивали, словно она была бессловесным манекеном, Стефа отдавала короткие команды:

— Повернись, встань ровно, выпрями спину.

А Софья Павловна строго смотрела на внучку и молча кивала: мол, слушайся Стефу!

Уставшая, Аля ни о чем не спрашивала. Ей вдруг стало все равно: ведь жизнью ее распорядились без всяких вопросов. Жизнью! И что говорить про одежду? Безразличие и равнодушие накрыло ее тяжелой волной, и захотелось уйти к себе, лечь, закутаться одеялом и никого не слышать, никого!

Хотя никто ничего ей плохого не делал — даже наоборот.

Совсем поздно, когда ушла болтливая сплетница Стефа, почти в одиннадцать вечера, в дверь раздался звонок.

Уставшая, обессиленная Софья Павловна простонала:

— Господи! Ну кого еще черт принес? — И выкрикнула слабым, дрожавшим голосом: — Аля, открой!

На пороге стоял молодой мужчина в ярко-рыжей дубленке. На каждой руке, как на ветке, были навешаны обувные коробки.

У ног стоял чемодан.

— Сонечка дома? — осведомился он, окинув удивленным взглядом девочку. — Позови! — И, не дожидаясь ответа, отодвинув Алю, он решительно зашел в квартиру. — Соня! — немного визгливо, с обидой выкрикнул он. — Хорошо же ты встречаешь гостей!

Появилась, бормоча извинения, Софья Павловна.

— Пашуля! — изображая радость, произнесла она. — А я тебя, дружок, уже и ждать перестала!

— Соня, — с укоризной отозвался он. — Ну если я обещал!

Скинув роскошную дубленку, гость рухнул в кресло, прикрыл глаза и капризно и театрально, словно неважный актер, проговорил:

— День был — кошмар! Ты даже не можешь представить!

Софья Павловна принялась сочувствовать и горячо благодарить за то, что Пашуля соизволил захватить. Бросилась варить кофе, вспорола большу-

щую коробку каких-то заморских конфет, и Аля поняла, что гость важный, не то что Стефа и уж тем более Маша.

Выпив кофе и съев почти все конфеты — у Али глаза полезли на лоб, — Пашуля лениво принялся открывать коробки.

Там была обувь. Не просто обувь — сказочная обувь! Лаковые туфельки с бантиком, замшевые туфли с золотой пряжкой, голубые босоножки с тонкими ремешками, зимние полусапожки на молнии, демисезонные с кнопками сбоку.

Невиданная красота и элегантность.

— Чего застыла? — небрежно спросил Пашуля. — Меряй, внученька! — И захохотал тоненьким голосом. Смех его был одновременно похож и на детский плач, и на куриное кудахтанье.

Аля с испугом посмотрела на Софью Павловну.

Та одобряюще положила руку ей на плечо:

— Конечно, меряй!

Все пришлось впору. Немножко жали замшевые туфли с пряжкой, но Аля смолчала.

Отказываться от этой красоты, от этого невозможного счастья было выше ее сил. Хотя и было неловко.

— Все не потяну, — объявила Софья Павловна. — Берем черный лак, они практичнее, чем замша, и босоножки берем — впереди лето. Ну и сапоги — куда деваться?

— А верх, Пашуля! Принес?

Пашуля молча ткнул носком ботинка в чемодан.

— Аля! Открывай! — приказала Софья Павловна.

Аля, красная от смущения и возбуждения, щелкнула замком чемодана.

Там лежала дубленка. Нет, не так — там лежало чудо. Чудо было бежевым, нежным, как кофейная пенка. Замшевое чудо, отороченное коричневым мехом.

— Ну что застыла? Надевай! — приказала Софья Павловна.

Аля надела. Дубленка была чуть великовата в груди и длинновата в рукавах.

Аля до смерти перепугалась, что Софья Павловна от нее откажется.

Но пронесло — выручил манерный Пашуля.

— В самый раз, — пропел он, — меньше не надо, растет ведь еще. Не каждый же год покупать.

— Не каждый, — согласилась Софья Павловна. — Иди, Аля, к себе. Мы сами тут разберемся.

В комнате Аля села на диван и задумалась. Теперь понятно. Павлуша этот спекулянт, торговец. Вещи вынес из-под полы. В Клину на их улице жила Тамара, спекулянтка. Она ездила в Москву и привозила оттуда вещи, а потом продавала «втридорога», как говорила бабушка Липа.

Тамару презирали, осуждали, но мечтали с ней подружиться. Все было сплошным дефицитом — и детские колготки, и нижнее белье, и мужские рубашки, и косметика.

Мама Тамару не осуждала, говорила, что хлеб у нее не дай бог: собрать денег, ранним утром, шестичасовым, поехать в Москву, целый день душиться в очередях, тащить это все на себе. А дальше продать и не попасться милиции. Впрочем, и милиция тоже одевалась у Тамары, жена участкового тоже с ней дружила.

Но все равно работа опасная — не дай бог, и тюрьма.

А баба Липа ворчала и возражала маме:

— Всех ты, Анютка, жалеешь! Сволочь Томка твоя! Сволочь и спикуль — дерет три шкуры, а эти дуры и рады последние деньги ей нести.

Павлуша — тоже спекулянт, но вещи у него потрясающие. У Тамары таких не было. Но все наверняка страшно дорого. Особенно дубленка. Скорее всего, дубленку бабушка не возьмет. И правильно сделает — куда Але дубленка? Что она, дочь космонавта или балерины Большого театра?

Дубленку она переживет, ходит в своем старом пальто. Главное, чтобы Софья Павловна не отказалась от лаковых туфель и зимних ботинок.

Но та ни от чего не отказалась. Хлопнула входная дверь, и она позвала Алю в комнату. Пашули уже не было, а вот коробки с обувью остались, и дубленка тоже. Вальяжно и беззастенчиво она раскинулась на спинке кресла, словно ожидая новую хозяйку.

Аля пожирала глазами дубленку — поверить в это было невозможно.

— Все взяла, — устало проговорила Софья Павловна. — Денег, конечно немерено. Пашка жулик, но куда деваться? Видишь, со всем уважением — с доставкой на дом! Да ладно, выкрутимся, не впервой! — беспечно заключила она.

Аля с трудом сглотнула.

— Спасибо. Большое спасибо. — Она запнулась, не зная, что сказать.

— Не переживай. Пришло время отдавать долги. Меня и так не было слишком долго.

Платья, пошитые Стефой, оказались немного чудными, но бесспорно красивыми. Их было четы-

ре — два летних, пестрых и ярких, одно теплое, из сиреневого джерси, отороченное кремовым кружевом.

— Это в театр, — оценив, строго сказала Софья Павловна, — и одно из плотной, немного жестковатой ткани — весна-осень, как объяснила Стефа. На голубом, нежном фоне расцветали крохотные подснежники. Плиссированная юбка и белый лаковый пояс — это какое-то чудо!

— Деньги отдам в следующем месяце, — сказала Софья Павловна. — Как раз придут. Ну ты знаешь!

— Конечно, Соня, конечно! Даже не думай и не беспокойся, не о чем говорить.

Платья лежали на спинке дивана и кресла. Аля ходила вокруг, осторожно трогала их руками, нежно гладила, снова отходила на шаг назад, принимаясь любоваться. Ей казалось, что все это сказка и это все происходит не с ней. Это какой-то сон, непонятный, странный и красивый. И, как все сны, он точно скоро закончится, потому что так не бывает. От возбуждения ее потряхивало.

Софья Павловна пощупала лоб:

— Не заболела? Иди, Аля, поешь! Что-то ты на себя не похожа!

— Поем, только попозже. Сейчас не могу, извините.

Два дня Аля просидела дома. Софья не возражала.

А через два дня, надев новую форму, купленную в фирменном магазине «Машенька» — юбка-плиссе и фартук с узкими лямками, — дубленку и сапожки, снова отправилась в школу.

Новая жизнь была совершенно другой, не похожей на прежнюю, провинциальную, донельзя

скромную и, если по правде, невозможно скучную. Конечно, по маме и бабушке Липе Аля очень тосковала. Но спустя полгода поймала себя на мысли, что думает о них не так часто, как раньше. Раньше, к примеру, она вспоминала их по сто раз на дню. А теперь раз в три дня, не чаще. Это, конечно, ужасно. Но разве это зависит от нее? Просто та ее жизнь осталась за чертой. А эта, новая, — вот она! И, если признаться, не такой уж она оказалась плохой.

Отношения с Софьей Павловной стали другими — она к ней привыкала. Теперь это была не просто чужая, незнакомая женщина. Это была, нет, не бабушка, но и не чужой человек. Наверное, так.

Часто ходили в театры. Пару раз в месяц в ресторан, послушать Лилию и побаловать себя вкусеньким.

Гуляли по улицам, и Софья рассказывала Але про Москву.

Иногда Софью кидало в воспоминания, и она была откровенна, что-то рассказывала про свою жизнь. А Аля любила слушать. Софья рассказывала интересно, совсем не нудно, с откровенными подробностями, совершенно не стесняясь внучки.

Про деда она говорила так:

— Пьесы твой дед писал дерьмовые, все про советскую власть. Поэтому и стал знаменитым. Писал бы про другое — ты ж понимаешь! Я никогда не стеснялась и лепила ему правду-матку. Он злился, кричал, мы страшно ругались. Упрекал меня, что всеми благами я пользуюсь, а труд его ни в грош не ставлю. И был, разумеется, прав! А я, вредная, колючая, все время подначивала. Поначалу мне

было его немного жаль — талант был, но он его, как говорится, продал. Продался. Хитрым был, по своему умным — знал, к кому и какой нужен подход, с кем подружиться, кому выразить восхищение. А я была гордой и за это его презирала! Хотя его можно было понять, а вот меня — вряд ли. Правда, если ты такая гордая — откажись! Если презираешь — уйди и не пользуйся! А я пользовалась, всем пользовалась. Насмехалась над ним и ни от чего не отказывалась!

Жили мы весело, бурно, такой бесконечный праздник, шумный и бестолковый, но спасительный — не было времени задуматься. Бесконечные гости, премьеры, курорты, заграничные поездки, морские круизы. Ты можешь себе представить — в шестьдесят пятом году своими глазами увидеть Рим и Париж? А круиз по Дунаю? Магазины, тряпки, обувь, украшения. Рестораны! Красивая жизнь, да?

Про быт я не думала — какое! Кружилась по жизни, как в вальсе, иногда переходя на фокстрот.

Мы подходили друг другу — ему нравилось, что его сопровождала красивая, умная и остроумная жена, а мне... Мне нравилось все остальное. Ну и как такая легкая и чудесная жизнь могла быть не по нраву? — Софья Павловна замолчала, задумалась. — Нет, ты не думай, что все было безоговорочно прекрасно. Дед твой любил красивых баб и заводил романы. Я быстренько наводила справки. Как правило, все было довольно безопасно: замужние женщины, жены успешных мужчин. Романчики легкие и необременительные, так, для «развлеченья».

Я успокаивалась — сто раз такое бывало, пройдет и в сто первый. И никуда он не денется — вот кому это точно не надо! Но пару раз испугалась.

Отпраздновали его пятидесятилетний юбилей, и он как с цепи сорвался — в этом возрасте такое бывает. Увидев его избранницу, я удивилась — все его прежние дамы были женщинами яркими, броскими, с бурным прошлым.

А здесь? Здесь была скромная врачиха из литфондовской поликлиники — тридцатипятилетняя серая мышь. Вернее, мышка. Маленькая, худенькая, с узким и бесцветным личиком. Если приглядеться и включить всю доброжелательность, довольно милая, но очень неброская, знаешь, как говорится, вызывающе скромная.

Врачиха была вдовой и растила сына одна. Жила где-то у Кольцевой, в маленькой квартирке, с пожилой мамой.

Ну и представь — тут такой экземпляр! Известный, богатый да к тому же и очень фактурный мужчина! Смешно упустить подобный шанс.

Сначала я наблюдала. Встречи по выходным, мне было забавно наблюдать за неверным муженьком — собирался он с особенной тщательностью: новый костюм, итальянские ботинки, белая рубашка. Поливался одеколоном так, что приходилось проветривать. Видела, что нервничает, и это меня удивляло.

Два раза в неделю он встречал свою пассию после работы — наивный! Мне тут же докладывали! Медсестра из поликлиники, билетная кассирша, моя старинная приятельница, — мой муженек брал у нее билеты в театр.

Ну и просто знакомые, случайно встречавшие наших влюбленных.

А я все посмеивалась: седина в голову — бес в ребро. Ничего, перебесится! Сколько раз такое бывало. Но приятно, как понимаешь, мне не было.

А один звонок окончательно вывел из равновесия. Мне позвонила моя знакомая, жена одного киносценариста. И предложила встретиться — по очень важному делу. Я долго раздумывала — сплетни в нашем кругу крутились давно, я все знала и выслушивать чьи-то советы совсем не хотела.

Но на встречу все же пошла.

Ирина — так звали ту женщину — была очень серьезна.

— Софья, милая, — сказала она, — поверь, что здесь все непросто! Лева так смотрит на эту! Я видела их в ресторане и обалдела! Здесь, извини, любовь, я уверена.

Не могу сказать, что я испугалась, но взяла под контроль.

А через два месяца твой дед сообщил, что в Варшаву едет один, без меня. Такого еще не было, мы всегда ездили вместе. Ну я и узнала — он едет с врачихой, с этой бледной немощью. И это, признаться, меня испугало.

Надо было действовать. Но как? Идти в партийную организацию? Нет, это был не мой метод. Попробовать его испугать?

И я сказала, что все знаю и иду с заявлением в парторганизацию. Ему-то ничего особенного не грозило — ну влепят выговор, пожурят да и отпустят. А вот его пассия однозначно потеряет рабо-

ту — вылетит как миленькая, там такие шутки не проходят.

Именно этого он испугался. Он вообще был трусом, впрочем, как и все мужики. Умолял меня этого не делать, пожалеть ее и его.

Но их мне точно жалко не было. К тому же моя жизнь терпела крах — твой отец окончательно сорвался с катушек, пропадал по неделям и месяцам, превращаясь в окончательного бомжа. Потом пару недель «отмокал», отсыпался, мылся, брился, отъедался и приходил в себя. А дальше как по сценарию — придя в себя, он крал из дома какую-то вещь и пропадал.

Разумеется, я убирала все драгоценности и деньги хранила у Маши. Всякую чепуху вроде вазочек или посуды мне было не жаль — да и всего было полно, твой дед постарался.

Но мой милый сынок умудрялся выносить что угодно — постельное белье, отцовскую шапку, часы, картины, книги — все, что можно было продать и пропить.

С этим я давно смирилась. Если с подобным можно было смириться... Лечить его было нельзя — он отовсюду сбегал и от всего отказывался. Боялась я одного — чтобы он не привел в дом сожительницу. Такое бывало, приходилось привлекать милицию.

К тому же я серьезно заболела — обнаружилась опухоль в груди. Все объяснимо — переживания не проходят даром.

Мне сделали операцию, все оказалось плохо, однако не смертельно — опухоль удалили вместе с частью груди. Но метастазов не было, я могла жить.

Итак. Мне сорок семь. Что я имею? Язву желудка на нервной почве. Полторы сиськи (к слову, вскоре после смерти сына отрезали и вторую). Ненавидящего меня мужа — страх и ненависть читались в его глазах. И совершенно пропащего сына — алкоголика, наркомана и вора.

И все это я получила по заслугам. Так я считала.

А потом он привел в дом твою мать. Нет, я ничего не имела против. Хорошая, скромная девочка, таких у него не было — даже странно, как ему такая попалась. Только зачем она ему? В то время он пил, но законченным алкоголиком все-таки не был — пока только пьяницей. Работать не хотел, но все же работал — вяло, слабо, но на работу ходил. Правда, увольнялся быстро, максимум через пару месяцев. А то и недель. Куда только мы его не пристраивали! Но я еще на что-то надеялась. Итак, жена, семья.

Я видела, что твоя мать страдает. Говорила ей, что с ним надо строже, что только ее он послушается. — Софья Павловна махнула рукой. — Какое! Но твоя мать — извини! — умела только плакать и страдать. Он тут же это понял и стал плевать и на нее. Ни в грош ее не ставил, делал, что хотел. Пил, гулял, приходил выпачканный в помаде, телефон обрывали девицы, а она все рыдала. Умоляла его одуматься, подумать о семье. Да не о чем говорить, я давно поняла — его не исправить. А потом родилась ты. Я была в своих проблемах: наркоман и пьяница сын, гуляющий муж, ну и моя непростая болезнь и вторая операция.

Все развалилось как карточный домик: была счастливая жизнь — и тю-тю! Нет, не счастливая — беззаботная, легкая и веселая. И я посредине этого

землетрясения и кошмара — стою и не понимаю, как дальше жить. Просто не понимаю. А за стеной рыдает чужая несчастная женщина и орет грудной младенец. А мне не до них, я сама еле жива. Я не оправдываюсь перед тобой, Аля! Просто объясняю, почему так все сложилось.

Аля смутилась — она не знала, что сказать. Она была совершенным ребенком, наивным, провинциальным, с трудом способным привыкнуть к новой, непонятной и незнакомой жизни, привыкнуть к чужому, по сути, человеку, внезапно ставшему ей единственно родным и на деле спасшему ее от ужасного будущего. Она не привыкла к подобным разговорам, но ценила, что Софья Павловна разговаривает с ней как со взрослой,

Чувства к Софье Павловне — а про себя она по-прежнему называла ее именно так — были разными: и благодарность, и страх, что вдруг та передумает, устанет от чужого ребенка и отдаст ее обратно. Она переживала оттого, что Софье Павловне приходится с ней столько возиться и столько на нее тратиться. И осталась обида, конечно, осталась — за маму, которую Софья Павловна не защитила или не захотела защитить. Обида за себя — как она могла их не искать? Ей было жалко ее и одновременно не жалко. Ведь как вышло — единственного сына Софья Павловна упустила. Мужем не дорожила, жила себе как стрекоза, а лето красное закончилось. Кого в этом винить? Правда, все это она признавала и никого не обвиняла в несложившейся жизни. И ей опять становилось жаль Софью. Но иногда жалость и сочувствие сменялись злостью — а нечего было!

И отыскать она их могла, и помочь. А вот теперь, на старости лет, почему бы не заполучить готовенькую и вполне приличную внучку? А что, удобно! Будет кому скрасить одиночество. И тут же стеснялась этих неправильных мыслей — нет, все не так. И Софья Павловна абсолютно бескорыстна, какие глупости! Просто так сложилась жизнь, вот и все!

Была еще одна сложность — как обращаться к ней? По имени-отчеству? Глупо. Но назвать ее бабушкой не получалось, и все, хоть ты тресни. Обращалась Аля к ней то на «ты», то на «вы», без имени, без отчества и безо всякой там «бабушки».

Софья Павловна усмехалась, но ничего не комментировала.

А спустя полгода сказала:

— Аля, ты не мучайся! Я же все вижу! Называй меня Софья! Ну или Соня! Что, подходит? А там разберемся.

Аля покраснела как рак:

— Так не смогу, извините! — И быстро вышла из комнаты.

Все оставалось по-прежнему.

Але очень хотелось посмотреть фото отца. Но попросить стеснялась — вдруг Софье будет больно?

Однажды, когда той не было дома, решила. На кухне шуровала Маша, которая, по ее собственному мнению, спасала Алю с Софьей.

Маша бестолково тыкала шваброй в углы, как всегда, бормотала что-то непонятное, за что-то ругала хозяйку, ворчала, роняла кастрюли и очень мешала делать уроки.

— Маша! — Аля вышла из своей комнаты. — Вы не могли бы дать мне альбом с фотографиями? Хочется посмотреть.

Маша глянула на нее как на врага народа:

— Сама, что ли, взять не можешь? Руки отсохли? — Но кивнула на комод в гостиной: — Тама возьми! А что Сонька? Не дает?

— Я не просила.

В нижнем ящике комода лежали два тяжелых бархатных фотоальбома, темно-синий и темно-зеленый. Еле вытащила и плюхнула на стол.

Открыла. Маша выглянула из кухни, решив присоединиться.

Обтерла о фартук руки и с тяжелым вздохом присела рядом.

Аля пододвинулась и открыла альбом.

Софья Павловна, бабушка. Родная бабушка, но пока еще чужой человек.

Софья — девушка, стройная, высокая, чуть сутулится, стесняясь высокого роста. Но взгляд дерзкий, открытый, решительный и пронзительный. Длинные темные волосы заплетены в слегка распущившуюся косу, небрежно перекинутую на грудь. Узкая ладонь придерживает на груди шаль. Платье расшито кружевом — по подолу, по рукавам, по груди, стоечкой воротничок, тоже из кружев.

Тонкая длинная девическая шея. Тончайшая талия, маленькая, но пышная грудь. Вся — изящество, грациозность, статность и элегантность. Совсем молода, а в глазах бесенята. Ботиночки по щиколотку, острые мыски, пряжечка сбоку. Стоит, опершись на стул с высокой резной спинкой. Фотография студийная, постановочная. Сепия на

твердом картоне, в углу золотой вязью название фотоателье.

Аля перевернула фотографию — витиеватым девичьим почерком очень кокетливо: «Сашеньке от Сонечки».

Кто этот Сашенька? Интересно.

Фотографии каких-то пожилых солидных людей в длинных платьях, сюртуках, шляпах и шляпках.

Фотография девочки лет пяти, сидящей в кресле, — кружевные панталончики, бантики, рюшечки, ленточка в кудрявых волосах, капризно поджатые губки. Пригляделась — Сонечка. Будущая Софья Павловна. Какой милый ребенок!

Софья Павловна-девица, с подругами, четыре девушки стоят в обнимку. Нежные милые молодые лица, взгляды, полные надежд. Что с ними стало, как распорядилась суровая жизнь? Революция, войны. Где эти девочки, теперь уже старухи? Все ли дожили до старости?

Фотографии молодого человека, статного, серьезного, в простой просторной блузе с пояском, в галифе и сапогах. Густые волнистые волосы, орлиный нос, строгий, даже суровый, пронзительный взгляд. Поняла — дед Лев, известный драматург. Долго вглядывалась в его лицо, пытаясь отыскать хоть какое-то сходство. Не нашла.

Потом фотографии совместные, семейные, в путешествиях и поездках. На берегу моря, у ворот санаториев, групповые и нет.

Дед величавый, выше почти всех, голова гордо откинута, прекрасные волосы, орлиный профиль и строгий взгляд.

Софья по-прежнему стройна, прекрасно одета и все норовит похвастаться длинными, пышными волосами — и так перекинет косу, и эдак. То соберет в пучок, то невзначай распустит, то небрежно заколет. Везде улыбка — широкая, радостная, во весь рот. Чудесные зубы. Длинные, немного цыганские серьги, всегда разные, густые нитки бус.

Обратила внимание, что та любила платки и шали, то на плечах, то на голове, а то искусно и ловко повязанные вокруг талии. Всегда на каблучках, любительница пышных и ярких юбок. А может, мода тех лет. Но никаких пиджаков, узких юбок и светлых блузок.

Рим, Париж, Монте-Карло. Лондон, Мадрид. Столы, покрытые белыми скатертями, поднятые бокалы. Заморские блюда. Кто мог позволить себе все это? Единицы, сливки общества. Дед с бабушкой как раз и были этими самыми сливками.

Пока Аля с мамой, полуголодные и почти раздетые, нищие и обездоленные, дрожа от страха, скрывались в крохотном городке у чужого, по сути, чело- века, считая каждую копейку и экономя на всем, дед с бабушкой наслаждались красивой жизнью. И если бы не бабушка Липа, они бы просто погибли.

Аля почувствовала, как у нее сжалось сердце. Какие же они дураки! Бедная мама боялась, что их будут искать и, не дай бог, отнимут ребенка! А они, эти «сливки», о них ни разу не вспомнили. Сплошной карнавал, карусель удовольствий и житейских радостей. Наряды, украшения, курорты, путешествия. И крошечный, латаный-перелатаный домик в Клину, на Лесной, пустая каша на ужин, сто раз перешитые платья и чиненая обувь.

И никто не вспомнил о них — ни веселая и красивая, всегда нарядная бабушка, ни строгий и важный дед. Как будто Али с мамой и вовсе не было на этом свете. Деду и бабке, праздным, нарядным и сытым, было не до единственной внучки.

Аля захлопнула альбом и медленно вышла из комнаты.

Вот и получи за свое любопытство! Вот и получи.

Легла на диван, отвернулась к стене и заплакала. Вспоминала жизнь на Лесной, нищету и убожество их скромнейшего быта, но там было другое — любовь! Там все было пропитано нежностью, заботой, любовью. «Мамочка, бабушка, мои дорогие, родные! Как же мне плохо без вас! Нет, я не променяла вас на дубленку и сапоги. Я не забыла вас, и я по вам очень скучаю. Просто разве я виновата, что все так получилось? Разве я виновата, что вы оставили меня и что она забрала меня к себе? Я ничего у нее не просила, это она сама так решила. И никогда ни о чем не попрошу! Потому что она мне *чужая* и никогда не будет родной».

А фотографии отца Аля так и не нашла, хотя очень хотелось. Да просто так, из обычного интереса. Просто посмотреть, похожа ли она на него, ну хоть немножко. Хотя совсем не хотелось быть похожей ни на него, ни на всех них!

Через полчаса в дверь постучала Маша:

— Чего легла среди дня? Давай пить чай.

Пошла, не хотелось ее обижать. Маша такая — обидится на пустяк и будет молчать пару недель. А Маша тут ни при чем.

Чай пили молча, вприкуску, как говорила Маша, размачивая в стакане сухую баранку и грызя карамель.

— Насмотрелась, — усмехнулась она, — ну, на фотки эти? Налюбовалась?

— Да я фотографии отца хотела найти. Но не нашла.

— И не найдешь! — в момент подхватила Маша. — Сонька все изничтожила! Прямо после его смерти. Порвала все — и в ведро! Я парочку выцепила, из рук прямо вынула! Ну чтоб на память. И ее, Соньку, понять можно. Сколько крови Сашка у них высосал — чистый вампир! А мне все же жалко папашу твоего беспутного. Хоть и дурной он был, прости господи, а все одно жалко. Жопу ведь ему мыла, нос вытирала. Я ж ему нянькой была. Все остальные-то не задерживались — сбегали: то с Сонькой поругаются, то малый достанет. А я всегда на месте. И швец, и жнец. И жалела его, и ненавидела. А злилась как, знаешь? Ну все у тебя, гаденыш, есть, то, что другие не видели. А ты? — Маша налила себе еще чаю, с удовольствием отхлебнула. — И деньги он у меня воровал, и матом крыл — всякое было.

А все равно жалко. Неприкаянный он был и, если по-честному, никому не нужный. Мать-то с отцом все по путешествиям и курортам, а он? Почитай, со мной и вырос. Какие они родители? Одно название. Я до сих пор Сашка вспоминаю и плачу... Красивый был и умный, но такой бестолковый! А все равно жалко — человек. И ушел таким молодым. — Маша хрустнула баранкой, всхлипнула и махнула рукой.

— А маму мою вы помните? — не поднимая глаз, спросила Аля.

— А что ж не помнить? Помню, конечно. Тихая такая девочка, скромная. Беленькая, тоненькая, большеглазая. Скромная — кушать стеснялась. Отломит кусочек и клюет, как воробей. Я Соньке сразу сказала — не уживутся! Заморит он ее, бедную! Заморит как есть. Слишком тихая она, ни слова поперек. А ему, дураку, не такая нужна. Ему бойбаба нужна, чтоб если что — по башке, по кумполу! А эта? И рот открыть не может. Он орет, пьяный, а она плачет. И ни слова в ответ. А когда ты родилась, так вообще охренел! Ребенок орет, жена плачет. Он и разоряется: ненавижу, достали! Зачем ему ребенок? Докука одна. А ей, бедной сироте, и уйти некуда. Вот и терпела, покуда руки не стал поднимать.

Врать не буду — Сонька его ругала, орала как резаная: сволочь, подонок! Милицией грозила. Да разве на собственного сына милицию позовешь — посадят! Да и стыд какой — такая семья, такой папаша, а тут сын алкоголик и драчун. Позор. Вот и скрывали. А если б не скрывали, тогда б, может, и спасли. Хотя кто знает... Бесноватый он был, Сашка. Как Сонька говорила, неуправляе-мый. Черт был, а не человек. Если по правде, скотина. Никого не жалел, ни мать, ни отца. Ни тебя. В меня чашки пулял, орал «отвали!». Да и женился он назло. Назло им, своим! Все пугал: вот приведу в дом невестку — поплачете! А плакала твоя мать. Да и вообще не знаю: любил ли он кого-нибудь? Мне кажется, нет. Есть такие люди — без сердца.

— Неужели, — почти прошептала Аля, — ничего в нем не было хорошего? Совсем ничего, ни капли?

— А кто его знает? Может, и было. Мать-то твоя за что-то его полюбила? Выходит, что было. А фотографию его я тебе принесу. Хочешь? Полюбишься на своего папашу.

Аля кивнула. Снова было стыдно. Как будто воровка, потихоньку от Софьи, через Машу. А если та расскажет? Нехорошо.

Маша сдержала обещание и фотографии принесла. Всего две, больше она не спасла. Но и этих было достаточно. Одна совсем выцветшая, размытая: компания на берегу речки, расстеленное полотенце в полоску, разбросанная колода карт, бутылки с пивом. И несколько юношей вокруг. Среди них Саша Добрынин, Алин отец. Смотрит в камеру и усмехается. «Красивый, — подумала Аля. — Мокрый, взъерошенный, а все равно ничего. Большие глаза, хорошие волосы. Красивый, широкий подбородок с ямочкой — как у любимого актера Жана Маре. Руки красивые, крупные. Да, симпатичный, и даже очень. Маму можно понять. Но взгляд — странный взгляд, в никуда. И глаза отрешенные, пустые. Безжалостные глаза, жестокие».

Аля вглядывалась и никаких своих черт не находила. Хотя нет, что-то есть. Кажется, брови, разрез глаз. Но больше она похожа на маму. Та была миловидной. Тихая среднерусская красота, как однажды сказала Софья. На первый взгляд ничего примечательного, а приглядишься — и хочется смотреть и смотреть. Как свежей воды напиться.